

Юрий Нагибин

Рассказы о Гагарине

В ШКОЛУ

Война пришла на Смоленщину. В большом селе Клушино, что под городом Гжатском, решили эвакуировать колхозное стадо. «Эвакуировать» — было новое и трудное слово, которое никому не удавалось произнести, «вкуировать» — говорили со вздохом. И всё-таки первый школьный день клушинцы обставляли торжественно. Какое бы ни свирепствовало лихо, этот день должен был остаться в памяти новобранцев учёбы добром и светом. Школу украсили зелёными ветками и написанными мелом лозунгами, ребят докрасна намыли в баньках, одели во всё новое.

Анна Тимофеевна с особой теплотой вспоминает, как снаряжала сына в школу. Она напекла ему толстых ржанных блинов и, завернув в газету, уложила вместе с тетрадками и учебниками в самодельный, обтянутый козелком ранец. Дом Гагариных находился далеко от школы, в другом конце длиннющей, с заворотом, деревенской улицы, и Юре даже на большой перемене не успеть к домашнему обеду. Намытый, наутюженный, с расчёсанной волосок к волоску головой, он то и дело спрашивал мать:

— Ты всё положила?

— Всё, всё, сынок. Надевай-ка свою амуницию.

От волнения он никак не мог попасть в лямки ранца. Анна Тимофеевна взяла сыновью руку, такую тоненькую, хрупкую, что у неё сердце испуганно захолонуло от любви и жалости, и просунула в ременную петлю.

Юра нахлобучил фуражку и решительно шагнул за дверь.

— Не балуйся, сынок, слушайся учителей, — сказала она вдогонку.

Анна Тимофеевна вышла на улицу. Школу отсюда не видать, скрыта за церковью и погостом. На стенах церкви, кладбищенской ограде и крыльце соседствующего с храмом сельсовета наклеены плакаты войны. Анна Тимофеевна помнила их наизусть: «Смерть немецким оккупантам!», «Родина-мать зовёт!», «Будь героем!», «Ни шагу назад!». По другую руку, за околицей, с десятков деревенских жителей призывного возраста под командой ветерана-инвалида занимались шагистикой и разучиванием ружейных приёмов. Боевого оружия в наличии не имелось, кроме учебной винтовки с просверлённым во

избежание выстрела патронником, и ратники обходились гладко обструганными палками. Трудно верилось, что это клушинское воинство сумеет остановить вооружённого до зубов неприятеля.

Прихрамывая, подошёл Алексей Иванович. Его костистое лицо притемнилось.

— Не берут, чтоб им повылазило! — проговорил в сердцах. — Как сруб сгонять, так Гагарин, а как Отечество защищать — пошёл вон!

— Будет тебе, Алёша, — печально сказала Анна Тимофеевна, — не минует тебя эта война.

— И то правда! — вздохнул Гагарин. — Люди сказывают, он к самой Вязме вышел.

— Неужто на него управы нету?

— Будет управа в свой час.

— Когда ж он настанет, этот час?

— Когда народ терпеть утомится...

Незадолго перед окончанием занятий Анна Тимофеевна, гонимая тем же чувством тревоги и печали, пошла к школе. Думала встретить сына по пути, но первый учебный день что-то затянулся. Она оказалась у широких, низких школьных окон, когда конопатая девочка из соседней деревни, заикаясь и проглатывая слова, читала стихотворение про Бармалея.

Потом настал черёд толстого, молочного мальчика, похожего на мужичка с ноготок. Он вышел к столу учительницы, аккуратно одёрнул свой серый пиджачок, откашлялся и сказал, что любимого стихотворения у него нету.

— Ну так прочти какое хочешь, — улыбнулась учительница Ксения Герасимовна, — пусть и нелюбимое.

Толстый мальчик снова одёрнул пиджачок, прочистил горло и сказал, что нелюбимого стихотворения тоже прочесть не может: на кой ему было запоминать нелюбимые стихи?

Он вернулся на своё место, ничуть не смущённый хихиканьем класса, и тут же принялся что-то жевать, осторожно добывая пищу из парты. Ксения Герасимовна вызвала Гагарина. Она ещё не договорила фамилии, а Юра выметнулся из-за парты и стремглав — к учительскому столу.

— Моё любимое стихотворение! — объявил он звонко. Анна Тимофеевна понимала радость и нетерпение сына.

Юра любил стихи про лётчиков, самолёты, небо и раз даже выступал в Гжатске на районном смотре самодеятельности и заслужил там книжку Маршака и Почётную грамоту. Но он не стал читать стихотворение, принёсшее ему гжатский триумф, и Анне Тимофеевне понравилось, что он не прельстился готовым успехом.

Мой милый товарищ, мой лётчик,
Хочу я с тобой поглядеть,

Как месяц по небу кочует,
Как по лесу бродит медведь.
Давно мне наскучило дома...
Давно мне наскучило дома...
Давно мне наскучило дома...

— Что ты как испорченная пластинка? — прервала учительница. — Давай дальше.

— «Давно мне наскучило дома...» — сказал Юра каким-то затухающим голосом.

Класс громко рассмеялся. Юра поглядел возмущённо на товарищей, сердито — на учительницу, и тут пронзительно прозвенел звонок — вестник освобождения.

— Ну, хоть тебе и наскучило дома, а придётся идти домой, — улыбнулась Ксения Герасимовна. — Наш первый школьный день окончен.

Ребята захлопали крышками парт. — Не разбегаться! — остановила их учительница. — Постройтесь в линейку!

— Как это — в линейку, Ксения Герасимовна?

— По росту.

Начинается катавасия. Особенно взволнован Юра. Он мерится с товарищами, проводя ребром ладони от чужого темени к своему виску, лбу, уху и неизменно оказывается выше ростом. Вот чудеса — этот малыш самый высокий в классе! Со скромной гордостью Юра занимает место правофлангового, но отсюда его бесцеремонно теснят другие, рослые ученики, и он оказывается почти в хвосте. Но и тут не кончились его страдания. Лишь две девочки добродушно согласились считать себя ниже Юры, но, оглянув замыкающих линейку, учительница решительно переставила Юру в самый хвост.

Он стоял, закусив губы, весь напрягшись, чтоб не разрыдаться. А во главе линейки невозмутимо высился толстяк, не знавший ни одного стихотворения. Едва учительница произнесла: «По домам!», как Юра опрометью кинулся из класса и угодил в добрые руки матери. Она всё видела, всё поняла.

— Не горюй, сыночек, ты ещё выше всех вымахашь!..

И как в воду глядела Анна Тимофеевна: выше всех современников вымахал её сын незабываемым апрельским днём 1961 года.

ЖИЛИЩА БОГАТЫРЕЙ

Учительница Ксения Герасимовна сказала, что поведёт их на экскурсию. Она ясно сказала «поведёт», но почему-то всем слышалось «повезёт». Наверное, в самом непривычном слове «экскурсия» заложено что-то будящее мысль о дальних землях, незнакомых городах. Стали думать, куда же их повезут. В Смоленск? Там немцы. В Вязьму? Там тоже немцы. В Гжатск? Он эвакуируется. Неужели в Москву?

Нет, экскурсия предстояла совсем недалёкая — на зады деревни. Тихая гжатская земля, село Клушино и его окрестности не раз оказывались полем ожесточённых битв русского

воинства с иноземными захватчиками. А в глубокой старине русские богатыри стояли тут на страже молодого зарождающегося государства россов.

Прямо за околицей учительница показала ребятам невысокую округлённую насыпь, по которой едва приметно вился выложенный камнем желобок — след древней дороги.

— Эти насыпи называются «жилища богатырей», — объяснила Ксения Герасимовна. — Кто знает, почему?..

Ребята молчали.

— Тут богатыри жили? — сообразил Пузан.

— Не просто жили, а русскую землю охраняли. И друг с дружкой перекликались. — Учительница вскарабкалась на насыпь и, поднеся ладонь рупором ко рту, закричала: — Ого-го!.. Спокойно ли у вас, други-витязи?.. Не тревожит ли рать вражеская?

Ветер взметнул и растрепал её седые волосы, но она будто не заметила, к чему-то прислушиваясь. И дождалась ответа — из бесконечной дали глухо, но твёрдо прозвучало:

— Нет покоя нам, други-витязи!.. Тучей чёрной ползёт рать вражеская!..

Но, может быть, Юре Гагарину только почудился сумрачный голос далёкого предка?

Ксения Герасимовна сбегала вниз и подвела ребят к могильному кургану за колхозной ригой.

— Здесь покоятся русские воины, которые в семнадцатом веке гетману Жолкевскому путь на Москву заступили. Страшная была битва. Воевода Дмитрий Шуйский, царёв брат, чуть не всю рать положил. Но и от воинства гетмана не много уцелело. Жолкевский печалился: «Ещё одна такая победа, и нам конец». Так оно после и стало... А вот скажите, ребята, кто ещё через Клушино на Москву шёл?

— Наполеон!.. — враз вскричало несколько учеников.

— Правильно, Наполеон! Вот какое историческое место наше Клушино, — с гордостью сказала учительница.

— Ксения Герасимовна, а Гитлер сюда не придёт? — спросил Пузан.

— С чего ты взял?

— Беженцы говорят, он уже под Гжатском.

— Москвы Гитлеру не видать как своих ушей, — твёрдым голосом сказала Ксения Герасимовна, уклонившись, однако, от прямого ответа...

— Ну, а к нам? — настаивал Пузан.

Ответа он не дождался. Из-за леса на низком, почти бредущем полёте стремительно вынесся немецкий самолёт и хлестнул пулемётной очередью.

— Ложись! — закричала Ксения Герасимовна.

Дети распластались на земле, где кто стоял. Им отчётливо видны были пауки свастики на крыльях и чёрные кресты на фюзеляже.

Самолёт пошёл на деревню. Громко, отгулчиво забили его крупнокалиберные пулемёты.

— Зажигалки! — крикнула конопатая девочка Былинкина. — Он кидает зажигалки!

Над избами занялось пламя. Столбом повалил чёрный дым.

— Школа горит! — отчаянно крикнул Юра.

Со всех ног ребята кинулись к деревне.

— Стойте!.. Куда вы?.. — тщетно взывала Ксения Герасимовна.

Никто её не слушал, и учительница, подобрав в шаг юбку, припустила вдогон.

Когда они достигли Клушино, воздушный разбойник, сделав своё чёрное и бессмысленное дело, убрался восвояси. Деревня горела с разных концов. Неподаляку от полыхающего здания школы лежала навзничь, головой в лопухи, молодая женщина. Её заголившиеся вывернутые ноги казались чужими телу.

— Дуня... почтальонша...

То была первая убитая в Клушино, и дети не решались к ней подойти. Ксения Герасимовна одёрнула на погибшей юбку и прикрыла ей платком лицо.

От конторы подбежали мужики, с ног до головы испачканные глиной — видать, отлёживались в огороде, — подняли Дуню и унесли.

И тут все слышали плач, прерывистый, взхлёб, похожий на кудахтанье.

На чурбаке, у школьного дровяного сарая, сидела незнакомая девочка и горько плакала, прижимая кулаки к глазам. Ребята окружили незнакомку.

— Ты кто такая? — спросила Ксения Герасимовна, присев на корточки.

Рыдания стали громче.

— Откуда ты, девочка?

Ксения Герасимовна сильно и умело отвела маленькие кулаки. Открылась рыжая пестрядь веснушек, на переносье сливающихся в одну сплошную веснушку. И понадобилось время, чтобы высмотреть нос кнопкой, круглые щёки, капризный рот и чёрные заплаканные глаза. Лицо девочки напоминало апельсин, в который на смех всунули два уголька. И дети сразу оценили это маленькое чудо.

— Вот это да! — восхитился Пузан. — Она пестрее Людки Былинкиной!

— Сравнил тоже! — подхватил чернявый, как жук, Пека Фрязин. — Людке до нее как до небес!

— Помолчите, ребята, — строго сказала Ксения Герасимовна. — Ты откуда, девочка?

— Мясоедовские мы, — по-взрослому ответила та.

— Как тебя звать?

— Настя.

— А фамилия?

— Жигалина.

— Постой, ты не предколхоза дочь?

— Ага!

— А как здесь очутилась?

— Меня мамка привела. К тётке Дуне жить.

— Дуня вам родная?

— Ага. Она тёти Валина дочка.

— А где же твои родители?

— Папка в этом... ополчении, а мамка в госпитале.

Ксения Герасимовна чуть помолчала, что-то соображая внутри себя.

— Слезами горю не поможешь, — сказала она решительно. — Пойдём, будешь со мной жить...

Клушинскую школу перевели в колхозное правление. Сюда же переколотили школьную вывеску.

После уроков, когда ребята гуртом выкатились на улицу, Пузан предложил Пеке Фрязину:

— Эй, Жук, давай из новенькой масло жмать!

— Лучше из тебя жмать, жиртрест! — огрызнулась Настя.

Ей бы помолчать — из новеньких всегда масло жмут, и ничего страшного тут нет, но её насмешка обозлила Пузана, а строптивость — Пеку Фрязина. И «жмать» её стали с излишним азартом.

— Да ну вас!.. Дураки!.. Пустите!.. — кричала Настя. — Да ну вас, черти паршивые!.. — В голосе её слышались слёзы.

Но её вопли лишь придали прыти «давильщикам», они разбегались и враз сжимали девочку с боков. Настя захныкала.

И вдруг, вместо податливого Настинного тела, Пузан встретил чьё-то колючее плечо, ушибся о него рёбрами и отлетел в сторону.

— Ты чего?.. — пробормотал он обиженно, но сдачи не дал, ибо отличался миролюбивым нравом и задевал лишь тех, кто был заведомо слабее его.

А с Юркой Гагариным — известно — лучше не связываться. Вот Пека Фрязин попробовал и распластался на земле. Вскочил, сжал кулаки и снова запахал носом в грязь. И главное, Юрка не злится вовсе, губы улыбаются, глаза весёлые, блестящие и... опасные. А крепок он, как кленовый корешок. Нет, лучше с ним не связываться. Да и на кой она сдалась, эта конопатая плакса? И Пузан пошёл себе потихоньку прочь, а за ним, ругаясь и грозясь, ретировался отважный Фрязин.

— Не плачь, — сказал Юра девочке. — Они же в шутку. Настя дёрнула носом раз-другой и успокоилась.

— Какой ты сильный! — сказала она восхищённо. — Здорово дал!

— Да это понарошку, — отмахнулся Юра.

Он глядел на её пёстрое черноглазое лицо, и ему было радостно. Он готов был сразиться за неё не с робким Пузаном и задирой Фрязиным, а хоть со всем воинством гетмана Жолкевского.

— Слушай, — сказал Юра, не зная, чем одарить это дивное существо. — Ты видела жилища богатырей?

— Н-нет, — сказала Настя подозрительно.

— Пошли!..

Юра поделился с Настей всем, что имел: жилищем богатырей, могильными курганами бесстрашных русских воинов, старым ветряком, где до революции водились ведьмы, заброшенным погостом — там по ночам мерцали зелёные огоньки, остовом сгоревшего самолёта, полузатонувшего в болоте. Настя принимала эти дары с вежливой прохладцей. Как выяснилось, её родное Мясоедово тоже не обойдено и памятниками русской славы, и таинственными огоньками, и всевозможной нежитью, вот только сгоревшего самолёта не было. К тому же её томили иные заботы.

— Пирожка бы сейчас! — сказала Настя мечтательно. Они сидели на треснувшем, вросшем в землю жернове, возле бывшего обиталища ведьм.

— Оголодала? — с улыбкой спросил Юра.

Настя замотала головой.

— Я сытая. Пирожка охота... У нас каждый день пироги пекли. С яйцами, грибами, капустой, рисом, с яблоками, вишнями, черникой.

— А ты, видать, балованная! — засмеялся Гагарин.

— Конечно, — с достоинством подтвердила Настя. — Я молёное дитя.

— Как это — молёное?

— Папка с мамкой никак родить не могли. И бабка покойная меня у бога вымолила.

— А разве бог есть? — озадачился Юра.

— Только у старых людей. У молодых его не бывает.

— Жалко! — снова засмеялся Юра. — А то бы мы пирожка намолили!

— Посмейся ещё! — обиделась Настя. — Я с тобой водиться не буду.

— Знаешь, — осенило Юру, — пойдём к нам. Мать вчера тесто ставила. Насчёт пирогов — не знаю, а жамочку или пышку наверняка ухватим.

— Пышки с вареньем — вот вкуснота! — плотоядно зажмурилось «молёное» дитя...

...Но пока настал черёд сладким пышкам, им пришлось отведать кисленького. У Гагариных сидела встревоженная и обозлённая Ксения Герасимовна.

— Явились не запылились! — приветствовала она появление дружной пары. — Я тут с ума схожу, а им горюшка мало. Куда вы запропастились?

— Да никуда, — подёрнул плечом Юра. — Просто гуляли.

— Дышали свежим воздухом, — уточнила Настя.

— Видали! — всплеснула руками Ксения Герасимовна, и седые волосы её взметнулись дыбом от возмущения. — Воздухом они дышали, поганцы!.. — Она повернулась к Анне Тимофеевне, с укоризной поглядывавшей на сына. — Недовольна я вашим парнем, очень недовольна.

— Чего он ещё натворил? — огорчённо спросила Гагарина.

— Ведёт себя кое-как...

В избу вошёл Алексей Иванович и остановился у печи, чтобы не мешать разговору.

— ...дерётся, товарищей обижают.

— Сроду никого не обижал, — сумрачно проворчал Юра.

— Вспомни, что было после уроков...

— А зачем они с меня масло жмали? — встрела Настя.

— Не «жмали», а «жали», Жигалина, — по учительской привычке поправила Ксения Герасимовна и слегка покраснела. — Прости, Гагарин, я не знала, что ты заступался... Ладно, пошли домой, Настасья!

На столе появился кипящий самовар.

— Может, чайку попьёте, Ксения Герасимовна? — предложила Гагарина. — С горячими пышечками.

— Спасибо, Анна Тимофеевна. Мне ещё гору тетрадок проверять. Бывайте здоровы.

Учительница увела разочарованную Настю, но Юра успел — уже в сенях — вручить своей подруге кулёчек с тёплыми пышками...

ХОЛМИК ПОСРЕДИ ДЕРЕВНИ

В тот день провожали клушинское ополчение. На небольшой площади перед колхозным правлением состоялся митинг. Председатель колхоза сказал ополченцам напутственное слово:

— От века клушинцы бесстрашно ломали горло врагам России. Не посрамит боевой славы нашей земли клушинское народное ополчение. Ждём вас с победой, товарищи!

Ополченцы хрипло сказали «Ура!», повернулись под команду и двинулись в направлении Гжатска, навстречу неприятелю.

Были они в своей обычной крестьянской одежде, в какой выходили на пахоту или уборочную: в стареньких пиджаках, ватниках, брюках, заправленных в сапоги, кепчонках и фуражках. За плечами каждого висел мешочек — сидор со сменой белья, портянками, полотенцем и мылом. Никакого оружия у них не имелось — ни огнестрельного, ни холодного. Лишь у командира, секретаря партийной организации колхоза, на ремне висела пустая револьверная кобура, заменявшая ему планшет. Может быть, оттого, что у ополченцев был такой гражданский вид, никто не голосил, не плакал. Просто не верилось, что этих пожилых, мирных и безоружных людей ждёт кровопролитное сражение.

Ополчение вышагнуло за деревню, одолев заросший бузиной овраг, когда возле строя возник, будто из воздуха родившись, Алексей Иванович Гагарин.

Анна Тимофеевна, принимавшая участие в проводах ополченцев, увидела мужа, хотела броситься за ним, но вдруг раздумала.

К хромоту добровольцу подошёл командир ополчения и что-то сказал ему. Алексей Иванович сделал вид, что не слышит, и продолжал шагать в строю. Командир приблизил

ладонь ко рту, бросил какую-то команду, ополченцы прибавили шаг. Гагарин изо всех сил старался не отстать.

Ополчение перевалило через бугор и двинулось чуть не на рысях в ту сторону, где небо обливало зарницами залпов. Гагарин отстал. Он напрягался во всю мочь, но против рожна не попрёшь — не позволяла калеченая нога держать шаг наравне с остальными. Он оставал всё сильнее и сильнее. Потом остановился, грустно и сердито поглядел вослед уходящим, плюнул и повернул назад.

— Так-то!.. — прошептала Анна Тимофеевна и утёрла взмокшее лицо.

Она видела, что Алексей Иванович пошёл задами деревни, сквозь заросли крапивы, малины и чертополоха к дому, и, щадя его потерпевшее урон самолюбие, сказала крутившемуся поблизости Юрке:

— Давай к тётке Дарье заглянем, она мне дрожжей обещала.

По пути им попался могильный холмик с деревянной оградой и белым, источенным мохом камнем, на котором не разобрать стёршейся надписи. Холмик был усыпан поздними осенними цветами: астрами, георгинами, золотыми шарами.

Анна Тимофеевна сдержала шаг.

— Видал? Хорошо было — вовсе забросили могилку Ивана Семёныча. Пришло лихо — вспомнили, кто тут Советскую власть делал.

— Мамань, его белые убили?

— Мятеж контрики подняли, сразу после Октябрьской революции. Ну, некоторые деревенские коммунисты в подполье ушли, а Сушкин Иван Семёныч отказался. «Я, говорит, ничего плохого не сделал, зачем мне прятаться?» Чистой, детской души был человек. Прискакали сюда конные, взяли Ивана Семёныча прямо в избе, повели на расстрел, да не довели, насмерть прикладами забили.

Постояли, посмотрели на могилу первого клушинского коммуниста мать с сыном и двинулись дальше.

У сына потом было много всякого в жизни, но этот холмик посреди деревни не забывался...

ЮРИНА ВОИНА

— Я не скажу про всех немцев, они всякие бывали, — рассуждала Анна Тимофеевна. — Конечно, нам судить о них трудно. Кабы они у себя дома сидели — один разговор, а то ведь к нам припёрлись, хотя их никто не звал. Поэтому был для нас каждый немец прежде всего оккупант. И нету другого правила в чёрное военное время, кроме одного: «Смерть проклятым оккупантам!» Ну, а по мелочам различия между ними, конечно, имелись, были такие, что тихо себя вели, и мы от них глаз не прятали.

А вот на Альберта лишний раз глянуть боялись, чтобы не заметил он нашу нестерпимую к нему ненависть. Война людей раскрывает и в хорошую, и в дурную сторону. Но Альберту, уверена, война не требовалась, чтобы обнаружить всю его гнусную сущность. Он и в мирном расцвете был жирной, поганой кусачей вошью.

Очень хорошо помню, как Альберт у нас появился. Немцев уже порядком в Клушино напелзло, а наш дом чего-то не занимали. Поди, не нравилось, что он с краю стоит. И решила я хлебов напечь, в последний, может, раз. Замесила на ночь тесто, а на рассвете растопила печь, и пошла писать губерния! Спеку калабашку, Зоенька её в бумагу обернёт, а Юрка на терраске под порогом схоронит. Был там у нас тайничок. Только мы управились и печь загасили, прикатывает на «козле» этот Альберт, здоровенный, задастый, румяный, годов тридцати. Сбросил на пол рюкзак, автомат, противогаз, кинул на кровать вшивую шинельку.

«Их бин, — говорит, — фельдфебель Альберт Фозен с Мюнхену. Тут, — говорит, — ганц гут унд никст швейнерей».

Мол, у вас в избе чисто, никакого свинюшника. И он здесь останется. Осчастливит, можно сказать, нас своим присутствием.

Потом втянул воздух и аж задрожал под мундирчиком и сразу все русские слова вспомнил.

«Эй, матка, давай брот, булька, хлииб!»

«Никст, пан, брот, — отвечаю. — Откуда хлебу-то взяться? Твои камрады подчистую весь брот, всю муку забрали».

Он в свой нос тычет:

«Врать, врать! Рус всегда врать! Хлииб есть!..»

«Нету, пан!.. Никст!.. Не веришь, сам поищи!»

И начали мы наперегонки хлопать крышками ларей и сусеков: гляди, мол, сам — нет ни крошки.

Но уж слишком он раздражился. Это понять можно. Немцы и вообще-то поголаживали, а этот такой из себя здоровенный, видать, мучной и жирной пищей вскормленный, ему, конечно, труднее других тело сохранить. Выскочил он наружу и окликнул прыщавого малого в немецких брюках, сапогах и ватнике. Паршивец этот был наш, гжатский, у немцев толмачом работал. Он вошёл, и ему тоже запахло свежим хлебушком.

«Будет вам дурочку строить, — говорит, — вы немца обмануть можете, только не меня. Пекли вы хлеб ночью или вчера вечером».

«Пекли, нешто мы отказываемся? Забрали у нас всё до крошки. Чересчур оголодовала ихняя армия».

Он поглядел сумрачно:

«Помалкивай, целее будешь».

«Спасибо, — отвечаю, — за добрый совет».

Тут Альберт чего-то заорал, слюнями забрызгал и на дверь руками машет.

«Он говорит, чтобы вы катились отсюда к чёртовой матери».

«Куда же мы пойдём из собственного дома?»

Альберту мои слова и переталдычивать не пришлось.

«Цум тейфель!» — орёт. К чёрту, значит. «Ин дрек!» Понятно?.. «Ин бункер! Ин келлер!» Это по-ихнему — в погреб...

Вроде бы уже хорошо объяснил, а всё остановиться не может, орёт и орёт, давясь словами. Пришлось толмачу за дело взяться.

«Он говорит: забудьте, что это ваш дом. Это его дом. Он будет здесь жить всегда. Он привезёт сюда свою жену Амалию и деток. А вы будете служить им, и ваши дети будут служить, и ваши внуки».

Переводит, а сам в носу колукает и на пол сорит. Никакого стеснения, будто и не люди перед ним. А может, он себя из людей вычеркнул, потому и стыда лишился? — задумчиво произнесла Анна Тимофеевна...

Толмач чего-то ещё бормотал, но тут Алексей Иванович не вытерпел:

«Ладно, хватит, заткни фонтан! Мы и сами тут не останемся. Нам вольного воздуха не хватает!»

Семья Гагариных переселилась в погреб, на краю огорода, и обитала там до самого изгнания немцев.

А муж Амалии, мюнхенский уроженец Альберт, занял избу, в сарае оборудовал мастерскую для зарядки аккумуляторов. Таким, в сущности, мирным, хотя и необходимым для ведения войны, делом помогал фельдфебель гитлеровскому вермахту. Но его дурная и активная натура не находила полного удовлетворения в технической работе. Альберту необходимы были люди для издевательства и угнетения. В отличие от своих аккумуляторов, он был постоянно заряжен — на зло.

Однажды гагаринские ребята от нечего делать занялись раскопками против сарая, где Альберт возился с аккумуляторами. Они выковыривали из мёрзлой земли то обломок штыка, то старинного литья пулю, то разрубленную кирасу, то ржавый ружейный ствол.

Заинтересованный их добычей, Альберт вышел из сарая.

— Oh, Kugeln!.. Eine Flinte!.. Das ist verboten!..^[1]

— Старое... От французов осталось, — пояснил Юра.

— Franzosen?.. Warum Franzosen?^[2]

— Наполеон через наше Клушино на Москву шёл.

— Nach Moskau? Wir auch gehen nach Moskau!^[3]

— Ага! Сперва «нах», а потом «цурюк»! Ребята засмеялись.

— Мы не будем «цурюк»! — разозлился Альберт. — Nur drang nach Osten!^[4]

— Дранг нах остен, драп нах вестен! — закричали ребята и кинулись врассыпную.

Лишь меньший Юрин брат, Борька, никуда не побежал. Да и куда мог он убежать на своих слабых, кривоватых ногах, едва освоивших тихий, валкий шажок? В младенческом неведении он выедал мякишек из хлебной горбушки и радостно смеялся, сам не зная чему. Альберт схватил его и повесил за шарфик на сук ракиты. Борька выронил горбушку и ужасно закричал. Теперь пришла очередь веселиться Альберту. Он вернулся в сарай и со вкусом принялся за работу, поглядывая на подвешенного к суку, словно ёлочная игрушка, мальчонку, который сперва орал, потом хрипел, потом сипел, наливаясь свекольной кровью — захлёстка постепенно затягивалась на горле, — и злое сердце Альберта утешалось...

Анна Тимофеевна ведать не ведала, какая стряслась беда, когда в землянку вбежал Юра.

— Мам, Борьку повесили!

Мать опрометью кинулась наружу.

Борька уже и сипеть перестал, снизу казалось, что в нём умерло дыхание. И пунцовое лицо с вытаращенными, немигающими глазами было неживым. Анна Тимофеевна не могла дотянуться до него, и от беспомощности, крупная, широкой кости, хоть и обхудавшая, женщина стала жалко прыгать вокруг ракиты.

Фельдфебель Альберт так хохотал, что плеснул на штаны кислотой. Это спасло Борьку. Немец отвлёкся. Юра встал матери на плечи и снял братишку с сука. Когда Альберт освободился, Гагариных и след простыл, а к дому подкатил грузовик с аккумуляторами, подлежащими зарядке...

Дня через два или три после этой истории Юра и Пузан сидели в сохлом кустарнике, затянувшем придорожную канаву, в полукилометре от околицы. Они успели схрустать по сухарю и луковице, запив обед водой из бутылки, и вновь проголодаться, а шоссе оставалось пустынным. Уже в приближении сумерек слышался рокот мотоцикла. Он шёл к деревне на хорошей скорости, километров шестьдесят, не меньше. И когда резко спустила шина переднего колеса, мотоциклист не удержался в седле, перелетел через руль и шмякнулся на асфальт.

Толстая кожаная куртка и такой же шлем защитили мотоциклиста. Он вскочил и, прихрамывая, побежал к завалившейся набок машине. В передней шине торчал толстый гнутый гвоздь. Мотоциклист сунул гвоздь в карман, погрозил кому-то кулаком и, толкая в руль тяжёлую машину, потащился к деревне.

— Узнал? — шёпотом спросил Юра товарища.

— Ага! Переводчик.

— Он самый, стервец... Пошли!

— Может, хватит? — просительно сказал Пузан.

— Не видишь, что ли, колонна ползёт?

В стороне Гжатска, в синеватой дали, червячком извивалась колонна грузовиков.

— Ну, вижу... Тошнит меня чего-то, — пожаловался Пузан. — Видать, собачьим салом отравился.

— Будет врать-то!

— Ей-богу! Мне бабка Соломония для лёгких прописала. У меня исключительно слабые лёгкие! — И он заперхал, закашлялся, чтобы показать, какие у него слабые лёгкие.

— Что же ты раньше не говорил? — удивился Юра.

— Говорил, ты не слушал. Главное, в животе у меня худо. Так и пекёт снутри, просто невозможно! — И он рыгнул, чтобы показать, как ему плохо.

— Да ты совсем расклеился!

— Я очень, очень больной человек! — вздохнул Пузан и, слегка приподнявшись, оглядел дорогу в оба конца.

Толмач скрылся, а колонна, хоть и плохо различимая в скраденном свете, тянулась к Клушину.

— Так я пойду. Приму чего-нибудь внутрь.

— Валяй! — без всякой насмешки или осуждения сказал Юра.

Он понимал, что друг его болен самой тяжёлой из всех болезней — трусостью, и, будучи сам сохранён от этой болезни, как и от всех прочих, испытывал к нему лишь сострадание.

Пузан с постной рожей покосился на Юру, кряхтя выбрался из ямы и побрёл прочь, одной рукой придерживая больной живот, другой — рёбра, дабы им сподручнее было защищать слабые лёгкие. Отойдя недалеко и полагая, что его уже не видно, он вдарил со всех ног к деревне.

Юра заметил несложный манёвр, но не умел сердиться на тех, кто слабее его. Он усмехнулся, и сразу лицо его стало серьёзным и сосредоточенным, как у охотника на тропе.

Пригнувшись, он двинулся по кювету. Карманы его ватничка были набиты гвоздями, ржавыми зубьями борон, осколками стекла, разными острыми предметами. Он

пригоршнями разбрасывал их по шоссе движением, напоминающим широкий, добрый жест сеятеля, каким он и был сейчас...

— В подмосковных полях шла большая война, — говорит Анна Тимофеевна, — а у нашего Юры — своя, маленькая, хоть и небезопасная. А когда отца на конюшне наказали, он и вовсе об осторожности забыл. Напхал раз Альберту тряпок в движок...

— В выхлопную трубу, — поправил Алексей Иванович.

— Ох ты, техник-химик! Какая разница? Важно, что забарахлила Альбертова фунилка. Альберт, конечно, догадался, чья работа, и пришлось Юре у Горбатенькой скрываться. Так до самого ухода немцев он у чужих людей и прожил...

— Ну, а как заговорила наша артиллерия, — вмешался Алексей Иванович, — попрощались мы с герром Альбертом...

— Постой, отец, я сама расскажу, — перебила Анна Тимофеевна. — Я лучше помню.

— Давай, давай! — усмехнулся Алексей Иванович. — Наша мать такая рассказчица стала, что никому слова молвить не даст.

— Ладно тебе!.. Альберту, конечно, хотелось тишком смыться, но мы не могли отпустить «дорогого» гостя без проводов. Подошли, он движок грузит, нас будто и не заметил. Погрузил движок и больше ничего из сарая не взял, а всю свободную площадь в кузове грузовика использовал под наше имущество. Постели, скатерти, занавески, кое-как в узлы увязанные, посуду, кухонные причиндалы, приёмник старый от батарейного питания — ничем не побрезговал. Я маленько удивилась, сколько же мы всего нажить успели!..

— Лампой керосиновой и то не пренебрёг, — вставил Алексей Иванович.

— Точно! Я ему говорю: «Куда же вы, герр Альберт? А обещались супругу свою привезть и всё семейство. Мы бы вас обихаживали, и дети наши и внуки служили бы вам верой и правдой...»

«Хальт мауль!» — говорит, то есть «заткни хлебало», и пихает в кузов мою старую швейную машинку.

«Ох ты!.. Ух ты!.. Испугал!.. А вещички побереги, они трудом и потом нажитые. Мы ещё за ними в твой Мюнхен явимся».

Тут у него рука к кобуре дёрнулась. Но Алексей Иванович рядом топоришком баловался, как хрякнет по суку, и Альберт только поддёрнул ремень на толстом брюхе.

«Руссише швейне!»

«Ан свиньёй-то ты вышел!.. У нас всё чисто. Мы на чужое барахло не заримся, в чужой карман лапу не суём...»

Может, и нарвалась бы я на крупные неприятности, да тут наши дальнобойные снаряды перелетели Клушино и разорвались в поле. Альберт скорее в машину — и ходу!..

— А вот и забыла! — торжествующе сказал Алексей Иванович. — В самый последний секунд изгнанник наш объявился и поставил точку всему этому делу. Он швырнул камнем в грузовик и аккурат в самое стёклышко, что позади кабины, угодил. Альберт башкой дёрнул, поди, решил, что убили, и в штаны намочил.

— Ну, чего ты придумываешь, отец, откуда тебе это известно? — возмутилась Анна Тимофеевна.

— Неужто я ихнего брата не знаю?.. Обязательно намочил. Так в мокрых штанах и драпал.

СТАРАЯ ВЕТЛА

Алексей Иванович Гагарин — человек необычный, мудрёный и очень одарённый, хотя прямо не скажешь, в чём его главный талант. Он всё может: и рассказать, и спеть, и любое ручное дело спорится в его ловких, умелых руках.

Он искусный плотник, но большую часть жизни проработал сторожем. Сторожить же ему доводилось и спирто-водочный завод, и военные склады, и всевозможное народное имущество. Он хром с младенчества, но в довоенное время немало побродяжил, отчасти в поисках заработка: случались худые, бесхлебные годы на родной Гжатчине, отчасти в неуёмной потребности новых впечатлений, встреч с умными свежими людьми.

Отхожий промысел крепко подвёл Алексея Ивановича в чёрные дни оккупации. Довелось ему однажды поработать мельником на Орловщине, и, когда немцы заняли Гжатчину и расположились гарнизоном в Клушино, кто-то накапал в комендатуре: мол, Гагарин может по мельничному делу. Его вытащили из землянки, где, изгнанный из собственного дома, он обитал со всем семейством, и определили в мельники.

На околице села стоял старый, почерневший от лет, дождей и бездействия ветряк с оборванными крыльями. Но жернова были хоть куда, их сцепили с бензиновым двигателем, и мельница заработала.

— Молол я и на своих односельчан, и на неприятелей, — рассказывает Алексей Иванович. — Бензин мне скупно отпускали, а мотор плохой был, жрал горючее, как акула рыб. Ну, фрицы и обижались, что мельница часто бездействует. А я что — виноват? Пью я, что ли, ихний бензин вместо вина? И как на грех: своим молоть — горючее в наличности, фрицам — его нема. А я-то при чём, раз так получается? Ну, раз взъелся на меня ихний фельдфебель, орёт, слюной брызжет: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» А я ему: «Чего ты лалакаешь? Тебе же русским языком сказано: никст бензин!» Он планшетку схватил, чего-то нацарапал на бумажке и мне суёт. И опять: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» — аж голова пухнет. Но одно слово я всё ж таки разобрал: комендатур. Ладно, говорю, понял, ауфидер ку-ку! И пошёл, значит, в комендатуру...

Он шёл по селу своим неспешным, прихрамывающим шагом и с тоской примечал порухи, наделанные войной. Много домов было напрочь сметено во время бомбёжки, много выгорело до печей, село казалось сквозным, во все стороны проглядывало ровное грустное поле, окаймлённое вдали лиственным лесом. Там, где улица делала крутой поворот и забирала вверх к центру села, он обнаружил сынишку Юрку и окликнул его:

— Эй, сударь, чего смутный такой?

— В животе болит.

— Переел, видать, — усмехнулся отец. — Перепояшься потуже, чтоб кишки не болтались, враз полегчает.

— А ты куда, папань?

— В комендатуру. Записку велели снести.

— Зачем?

— Я так полагаю: просят выдать мне десять кил шоколада.

— Не ходи ты за ихним шоколадом, папань.

— Нельзя, сынок. Этак худшее зло накличешь. А то пострадают для порядку, и делу конец.

...Юра пошёл с отцом. Они миновали гигантскую старую ветлу с мощным изморщиненным стволом, необъятной кроной, и была та лоза под стать древнему дубу.

— При моём деде стояла, — с нежностью сказал Алексей Иванович о дереве. — Может, оно ещё в дни царя Петра посажено!

— Папань, ты что — спятил? — спросил сын. — Я же миллион раз это слышал.

— Неужто миллион? — удивился Алексей Иванович. — Стал быть, повторяюсь?.. Видать, старею, сынок...

Комендатура помещалась в здании бывшей колхозной конторы, стоявшем с краю общественного двора. Сейчас двор пустовал, кроме конюшен, где немцы держали заморенных лошадей.

Возле комендатуры расхаживал часовой с автоматом на шее. В караульном помещении отдыхающие немецкие солдаты боролись со вшами. Они задирали подол рубахи, снимали вошь и, не догадываясь её щёлкнуть, кидали на пол, приговаривая:

— Капут партизан!

— Видал? — кивнул сыну Алексей Иванович. — Людей истреблять, стал быть, проще. А на вошь ума не хватает.

Немецкий часовой двинулся на них с грозным видом. Алексей Иванович протянул ему записку, тот прочёл, присвистнул, засмеялся и дружелюбно пригласил Алексея Ивановича пройти в комендатуру.

Юра хотел последовать за отцом, часовой не пустил. Юра попытался скользнуть у него под рукой, но часовой ловко поймал его за воротник рубашки. Каждый схваченный за

шиворот мальчишка, если он не раб в душе, безотчётно пускает в ход зубы. Часовой тихо, удивлённо и обиженно вскрикнул, отшвырнул мальчика и ударил его кованым сапогом пониже спины. Юра отлетел шагов на десять и приземлился легко и бесшумно, как кошка.

Гарнизонный палач Гуго, толстый, страдающий одышкой, и переводчик, прыщавый паршивец, отвели Алексея Ивановича на конюшню...

— Велели они мне руками за стойку взяться. Схватился я покрепче за эту стойку и думаю: «Экая несамостоятельная нация: и вошь толком не умеет истребить, и человека высечь — на мне же полный ватный костюм». Тут Гуго чего-то сказал толмачу, а тот перевёл: задери, мол, ватник. Закинул я ватник на голову, — ничего, меня и брюки защитят! А они обратно посоветовались и велят мне ватные брюки спустить. Ладно, на мне кальсоны байковые, авось выдержу. Но и кальсоны тоже велели спустить. Нет, нация не такая уж бестолковая!..

«А совесть у вас есть? — говорю. — Я же вам в отцы гожусь».

Куда там! Гуго как завёл: «Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» — хоть уши затыкай.

Ладно, повинуюсь. В стойле рядом лошадь стояла, наша, смоленская, фрицами мобилизованная: худющая, вся спина в гнойниках, над глазами ямы, хрумкала сеном и вздыхала. Повернула она свою костлявую голову в нашу сторону и поглядела прямо-таки с человеческим стыдом на все эти дела. И вздрагивала она своей зыбкой шкурой при каждом ударе.

После Гуго плетъ опустил, а переводчик спрашивает:

«Ты почему не кричишь?»

«Нельзя мне, — говорю, — сын может услышать».

«Не слишком ли слабо он бьёт?»

«Бьёт — не гладит».

Гуго посипел, посипел, отдышался и обратно за дело принялся. Уставал он, однако, быстро.

Прыщавый ко мне:

«Он спрашивает: ты будешь кричать?»

«Пусть не сердает, — говорю и слышу себя будто издали. — Мне б самому легче... Да ведь сын рядом...»

«Он только что пообедал и не в руке», — извиняется за Гуго прыщавый.

«А у меня претензий нету...»

Гуго обратно заработал, и я вроде маленько очумел, не сразу услышал, чего мне прыщавый внушает:

«Покричи хоть для его удовольствия и собственной пользы».

«Пан, — говорю, — в другой раз... Когда один буду. Нельзя, чтоб мальчонка слышал...»

«Он очень расстроен, — говорит толмач. — Начальство подумает, что он плохой экзекутор, и отошлёт его на фронт. А у него трое малых детей. Пойми его как отец».

«Коли надо, могу ему справку выдать... Так сказать, с места работы».

«Ну, ты допрыгаешься!» — говорит толмач. Похоже, он тоже расстроился.

Вот дурачьё! Как будто я назло им! Когда кричишь или хоть стонешь, куда легче боль терпеть. Но ведь не могу же я, чтоб Юрка слышал...

Перекрестил Гуго меня ещё разок-другой и сообщил через переводчика, что не хочет даром тратить силы на такого гада, как я. Мол, и так мне выдано с привесом. Спасибо, а я-то боялся, что недополучу по ордеру...

Смыл я кровь, оделся, попил воды из кадки и вышел на улицу. Гляжу, через дорогу, под ракитой, Юрка стоит. Переправился я к нему, и пошли мы домой.

«Папань, сильно они тебя?»

«Попугали, и только. Не думай об этом».

«А чего ты шатаешься?»

«Вот те раз! Я ж хромый... А ты чего скривился?»

«Я ничего... нормально».

Но я уже понял, что сыночка моего тоже избили, и какая-то слабость на меня нашла. Всё ничего было, а тут... Мы как раз мимо ветлы проходили. Я говорю:

«Знаешь, какое это дерево?»

«При царе Петре посаженное».

«Да нет. Это целебное дерево. Коснись его, и всякую хворь как рукой снимет».

Сошли мы с дороги, и уж не помню, как я до ветлы добрался. Обхватил её, прижался к жёсткой, морщинистой коре и стою, дышу. Вернее сказать, не стою, а почти лежу в прогибе ствола. Гляжу, и Юрка мой с другой стороны к ветле притулился. И знаете, я это затеял, чтоб опору найти, чтобы не свалиться, а тут и впрямь облегчение пришло...

Мы как в нашу земляночку вернулись, мать даже и не заметила, чего над нами неприятель издевал. Только когда к столу садиться стали, заминка вышла. Мать нас усаживает, а мы стесняемся.

«Да сядете вы к столу или нет?» — рассерчала она.

«Знаешь, мать, — говорю, — мы решили принимать пищу по красивому заграничному способу».

«Это ещё что такое?»

«Как на званных, исключительных приёмах: по-нашему — встояка, по-ихнему — а ля фуршет».

И до сих пор посреди села Клушино стоит громадная старая ветла, подпирая своей кроной голубое, в светлых курчавых облаках небо.

СНОВА ЗА УЧЁБУ

Кончилось немецкое владычество на Гжатчине. Анна Тимофеевна проветривала избу после Альберта, прежде чем перенести туда уцелевшие вещи, когда появился Алексей Иванович в дублёном романовском полушубке и шапке-ушанке со звёздочкой.

— Рядовой Гагарин убывает для прохождения воинской службы! — доложил горделиво.

— Добился-таки! — воскликнула Анна Тимофеевна.

А ребята молчали, потрясённые блистательным обликом отца-воина.

Открылась школа. Старое школьное здание сгорело, и занятия возобновились в уцелевшей избе по соседству с Гагариными. Учительница загодя велела ребятам самим раздобывать учебные пособия и всё необходимое для занятий.

— Ксения Герасимовна, вот чернила! — Конопатая девочка поставила перед учительницей бутылку с тёмной жидкостью.

— Это что?

— Свекольный отвар, густой, густой!

— Молодец, Нина!.. А у тебя что, дружок?

Пузан высыпал на стол десятка три патронных гильз.

— Палочки для счёта.

— Молодец. А у тебя?

— Бумажная лохматура! — И похожий на воробышка мальчуган опрастывает хозяйственную сумку, набитую макулатурой: тут и обрывки обоев, и фрицевские приказы, и старая обёрточная бумага.

— Молодец! А у тебя? — обратилась учительница к Юре.

— Вот... вместо учебника. — И он достал из кармана «Боевой устав пехоты».

— Отличная хрестоматия! — одобрила учительница. — Читать не совсем разучились?.. Гагарин Юра, начинай!

И Юра читает по складам:

— «За-щи-та Ро-ди-ны — свя-щен-ный долг каж-до-го...»

БУЯНКА

После изгнания немцев Анна Тимофеевна оказалась с младшими сыновьями на пустоши разгромленного и, расхищенного неприятелями хозяйства. Алексей Иванович ушёл в армию, старшего сына и дочь угнали в немецкую неволю, только в конце войны домой вернулись, и при матери остались десятилетний Юра и малыш Борька. Вокруг погорелье, разор. А жить надо.

В качестве тягла выдали колхозу потерявших молоко коров.

— Корова два шага сделает, взбрыкнет, вскинется, хлоп на землю и лежит. Поди-кось, подыми ее! — рассказывала Анна Тимофеевна.

Но подымали — и пахали, и сеяли, и убирали скудный урожай. И примешивали лебеду к муке. И жили. Когда же Алексей Иванович из госпиталя пришёл, стали и свой приусадебный участок возделывать. Он сколотил сошку, пахали всей семьёй: сам за коренника, Юрка с Борькой на пристёжке, Анна Тимофеевна пахарем.

А кончилась война, решили в Гжатск перебраться. Думали, легче там будет с работой у Алексея Ивановича. Но вышло неладно. Алексей Иванович вконец расхворался: замучил желудок и костная болезнь. Пришлось Анне Тимофеевне одной семью тянуть. Все силы вкладывала в подсобное хозяйство завода, а дом, больного мужа, малых ребят вовсе забросила. И вот тут-то пришло к ней великое облегчение, позволившее оставить работу, взяться за лечение мужа, за всю домашность и воспитание ребят.

— Так с чего же вам легче стало, Анна Тимофеевна?

— Вот те раз!.. А корова? Говорю ж, подсобили нам телушку купить, как тяжело нуждавшимся, стало быть...

Да, городской человек не сразу берёт в толк, что значит корова для сельских жителей!

Телушку эту называли Буйанкой, дабы заклясть судьбу, — уж больно дохлой, нежизнегодной выглядела тощая скотина. Может, впрямь помогло лихое прозвище — выпоенная, выхоженная Анной Тимофеевной, Буйанка стала доброй молочной коровой.

Соседки удивлялись, как на скудных выпасах, выделенных частному скоту по обочинам и канавам, опушкам лесов и просекам, топким крайкам болот, а то и соломе с крыши, набирала тихая Буйанка столько жирного молока. На редкость умна и трудолюбива была рыжая коровка: идёт с пастьбы, всякий раз клевера, вики или люцерны с общественных лугов прихватит, на сельской улице пыльного спорыша — топтун-травы пощиплет, а

после горячее пойло до капли подберёт. И куда её ни приведи, всегда сытную и полезную траву отыщет. Где другие коровы морду воротят: кругом ядовитая купальница или столь же вредный для нутра чистотел, — Буянка непременно найдёт пырей, козлобородник, борщевик и знай хрумкает! И то ж на болотах — среди пустых, непитательных осотов отыщет осоку мелкую или водяную и насыщается — будь здоров!

Но Буянка не только кормила будущего космонавта и его братишку, но и одевала. Махотки с коричневато-розовым топлёным молоком, творог в марлевом узелке, густую белую сметану в горшочке носила Анна Тимофеевна на базар, а выручку обращала в ботинки, калоши, штаны, курточки и пальтишки для своих сыновей. И карандаши, и вставочки, и тетрадки в клеточку и линейку, и книжки с картинками — всё добывалось из тяжёлого Буянкиного вымени.

Пас корову Юра. Он не всегда следовал наставлениям матери, где можно было пасти, а где нельзя. Случались среди запретных мест лесные лужки и вырубки с пышным разнотравьем, сухие болота с сочной травой, куда не пробраться с косилками и без выгоды посылать малочисленных колхозных косцов, так что же — задаром пропадать богатым кормам? И Юра гнал туда Буянку. Он был на редкость и на радость послушный мальчик, но только до тех пор, пока видел разумность тех или иных запретов.

Буянка платила привязанностью своему отважному пастуху. Когда их заставал на пастбище ливень, Юра забирался под брюхо Буянки, громадные вздутия боков надёжно защищали от секущих холодных капель. Случалось, он засыпал под хлёт дождя, раскаты грома и вспышки пауци-молний, и Буянка стояла не шелохнувшись, чтоб не повредить спящего под её чревом мальчика.

Существует легенда, что основателей Рима — братьев Ромула и Рема — вскормила волчица. Не счесть её изображений в столице Италии в бронзе, мраморе, граните. Какого же памятника заслуживает добрая русская корова, вспоившая своим молоком прекраснейшего сына нашего века!..

В БЕСКРАЙНЕМ НЕБЕ

Курсант Саратовского аэроклуба Юрий Гагарин совершил первый самостоятельный полёт. Ему принадлежали и синь бескрайнего неба, и лёгкие светлые облака, и ширь земли далеко внизу. И всё это потому, что он держится в воздухе своей силой. А прежде его держала рука инструктора Мартынова. Да, он так же сжимал штурвал, управлял самолётом, но им самим управляла чужая воля, и он ощущал её даже в те минуты, когда инструктор не вмешивался в его действия.

Нечто сходное он пережил в раннем детстве. Мать учила его плавать в ручье. Она клала сынишку животом на свою ладонь, он шлёпал руками, сучил ногами, вода плескалась, обтекала маленькое тело, но всё-таки плыл не он, а материнская рука. Так и во всех прежних совместных полётах он летал как бы на чужих крыльях. А сейчас узнал, что значит лететь на своих крыльях, и это было счастье!..

Юрий Гагарин засмеялся, чувствуя сушь обветренных губ — изнурительно сухое и пыльное лето стояло в Саратове, — и вдруг запел. В стареньком учебном самолёте ПО-2, носившем в пору войны смешливо-уважительное прозвище «кукурузник», над бурым

кругом маленького аэродромного поля запел во всё горло, но никто не услышал его. Мог ли он думать, что пройдёт не так уж много лет и в кабине космического корабля он запоёт над всем миром песню, которая сразу станет знаменитой лишь потому, что её пел он, Гагарин, первый человек, проникший в космос.

Но надо садиться. Ему положено сделать всего один круг. Так же как и в том, будущем, полёте. Он приземлился красиво и точно, прыгнул на землю и, стараясь не выдать своего бурного восторга, отрапортовал инструктору Мартьянову:

— Товарищ инструктор лётного дела, задание выполнено!

— Молодец, — сказал Мартьянов. — Поздравляю!.. — И тут он дал приоткрыться створкам, за которыми скрывал свои чувства от курсантов, боясь панибратства, потому что сам был ещё очень молод, — он шагнул к Гагарину и крепко обнял его.

— Для первого раза совсем неплохо! — сказал, подходя, приехавший в гости генерал-майор авиации со Звездой Героя на кителе.

Гагарин видел его, ещё когда рапортовал Мартьянову. Но что могло быть общего между генералом авиации, Героем Советского Союза, и скромным курсантом аэроклуба? И вдруг протянулась ниточка. Он вспыхнул и неловко поклонился генералу.

— Какой путь вы себе избрали? — спросил генерал.

Гагарин смешался, и за него ответил Мартьянов:

— Индустриальный техникум кончает, будет литейщиком.

— Хорошее дело. — В голосе генерала прозвучало разочарование. — Хорошее, ничего не скажешь. А только он прирождённый лётчик. Мог бы стать классным пилотом.

— Я хочу летать, товарищ генерал! — вдруг звонко сказал Гагарин. — Я ничего другого не хочу!..

— Вон как? — Генерал внимательно посмотрел в открытое лицо юноши, словно хотел запомнить его на будущее. — Как вас зовут?

— Юра, — по-детски ответил курсант и тут же поправился: — Юрий Алексеевич.

— Фамилия?

— Гагарин.

— Хорошая фамилия, княжеская, — усмехнулся генерал.

— Не, мы колхозные, — как во сне произнёс Гагарин, и ему показалось, что кто-то иной, далёкий, произнёс эти слова.

И, словно усиливая его странное чувство, генерал поднёс пальцы к седым вискам, как делают люди, пытаясь вспомнить забытую мелодию.

— Боже мой! Ведь так уже было... Я слышал, слышал эти слова!..

Гагарин смотрел на генерала и сам неудержимо проваливался в глубь лет. Перед ним было родное Клушино начала войны, деревенская улица, вдруг накрытая адским грохотом, заставившим кинуться врассыпную кур, уток, гусей, поросят, а дворовых псов с воем забиться в конуры. Над крышами изб, едва не посшибав радиоантенны, пронеслись два краснозвёздных самолёта, и за одним из них тянулся хвост густого чёрного дыма. Внезапно возникнув, они так же внезапно скрывались, только грохот их ещё колебал воздух. Казалось, самолёты сели на картофельное поле за деревней. Все, кто был на улице, кинулись туда.

С околицы слабо всхолмлённая окрестность просматривалась далеко, она не имела края и как-то неприметно становилась небом. Самолётов как не бывало. В разных местах простора подымались дымы, но то были костры пастухов, угоняющих на восток смоленские стада, костры беженцев, или же то догорали строения, подожжённые немецкими зажигалками.

— Улетели, видать...

— К базе своей потянули...

Любопытные повернули назад. Юра остался. Он жадно оглядывал местность. Вдруг он сорвался и побежал через поле к можжевельной поросли, за которой в низине лежало болото.

Там они и оказались. Один самолёт, целёхонький, стоял на твёрдой земле, другой исходил последним дымком в тёмной жиже торфяного болота. Видно, огонь погасило болотной влагой. Юра подошёл совсем близко, но пилоты не замечали его. Старший из них бинтовал своему молодому белокрысому товарищу раненую руку. Тому было очень больно, и, чтобы скрыть это, он на все лады ругал гитлеровцев, подбивших его самолёт.

— Может, лучше просто поорать, да погромче? — предложил старший.

В ответ прозвучало новое замысловатое проклятие гитлеровцам, которые, так их и растак, за всё ответят.

— Больно, да? — спросил старший.

— Чепуха! Кабы не ты, стучаться мне у райских врат.

— Не трави баланду! — сердито сказал старший и тут заметил мальчика. — Эй, пацан, это что там за деревня?

— Это не деревня, село, — застенчиво пробормотал Юра.

— Вот формалист! Ну село...

— Клушино.

Лётчик закрепил бинт, достал из планшета карту. Юре очень хотелось посмотреть, какие карты у лётчиков, но он не решился, уважая военную тайну.

— Понятно... — пробормотал лётчик. — Тебя как звать?

— Юра... Юрий Алексеевич.

— Ого! А фамилия?

— Гагарин.

— Хорошая фамилия, княжеская.

— Не, мы колхозные.

— Того лучше! Председатель у вас толковый?

— Ага... — И, вспомнив, что говорили взрослые, добавил: — Хозяйственный и зашибает в меру.

Оба лётчика засмеялись.

— Записку ему отнесёшь, — сказал старший и, подложив планшет, стал что-то писать на листке бумаги, вырванном из блокнота.

— Дядь, вас на фронте подбили? — спросил Юра раненого.

— Факт, не в пивной, — морщась, ответил тот.

— А он чего так низко летел? — спросил Юра о старшем.

— Меня прикрывал.

— Как прикрывал?

— От врага оборонял. Это, браток, взаимовыручкой называется.

— Дядь, а когда летаешь, звёзды близко видны?

— Ещё бы! — усмехнулся раненый. — Как на ладони.

— А там кто есть?

— Вот не скажу. Так высоко мы ещё не залетали. А сейчас и вовсе не до звёзд. Начнёшь звёзды считать, тут тебе немец и выплёт.

— Значит, вы звёзды считали?

— А тебе палец в рот не клади! Я ихнюю колонну поливал и от снаряда не уберёгся.

— Слушай, Юрий Алексеевич, тебе боевое задание, — прервал их увлекательный разговор старший. — Передай эту записку вашему преду. Понятно?

— А вы не улетите? — спросил мальчик.

— Мы здесь зимовать останемся, — пошутил молодой.

— Нам воевать надо, — серьёзно сказал старший. — А ну-ка, исполнять! Живо! Одна нога здесь, другая там!

Юра опрометью кинулся выполнять первое в своей жизни боевое задание.

Вечером мать непустила его со двора. А он не мог объяснить ей, что ему нужно к лётчикам. Прочитав доставленную им записку, председатель строго-настрого предупредил: о лётчиках никому ни слова. Юра не понял смысла этого запрета, но ведь боевые приказы не обсуждаются. И он молчал.

Чуть свет Юра выскочил из спящей избы и помчался в поле. Он бежал напрямик сквозь мокрый от росы орешник, через овраг, острекался злой осенней крапивой, но всё равно опоздал. Лётчиков не было. Лишь в тёмной торфяной жиже сиротливо торчал ползатонувший истребитель.

Юра с грустью поглядел на пепельный кружок костра, на глубокие борозды, оставленные самолётом, унёсшим лётчиков. А потом, перепрыгивая с кочки на кочку, добрался до утопшего самолёта и залез внутрь. Занял место пилота, положил руки на штурвал и... Теперь он знал, почему испытанное сегодня при всей своей ошеломляющей новизне на миг представилось повторением раз пережитого. Вот тогда, в мёртвом, чёрном самолёте почувствовал он небо, полёт, крылья, как не чувствовал потом уже ни разу вплоть до сегодняшнего дня...

И в генерале вид этого юноши пробудил забытые воспоминания. И все они сводились к появлению из пустоты полей светловолосого деревенского мальчика, похожего на пастушка.

А вот Гагарин не узнавал генерала. Раненым белобрысым лётчиком он явно не мог быть — волосы на его висках были тёмными, и уж слишком немолодо изрубленное морщинами загорелое лицо. Но и на старшего лётчика, каким он сохранился в памяти, генерал не больно похож. У того голова была круглее, черты лица мягче, глаза посинее и голос совсем другой. Да ведь сколько времени прошло: человек изменился, подсушился, заострился под стать своему определившемуся характеру, а голос в заглубившей гортани стал устойчивей, ниже, глуше. И, твёрдо сочтя генерала старшим из двух лётчиков, Гагарин спросил:

— А как ваш товарищ?

— Какой товарищ? — не понял генерал.

Вот те раз — неужто и такое можно забыть в круговерти жизни?..

— Ну, которого вы прикрывали, — сказал он упавшим голосом.

— Вы чего-то путаете, ваше сиятельство! — рассердился генерал.

— Да ничего я не путаю!

И, забыв о всякой почтительности, Гагарин горячо и сбивчиво принялся оживлять затвердевшую память старого воина. Тот слушал его с интересом, удивлением и вроде бы печалью.

— Да, — вздохнул генерал, когда Гагарин замолк, — жизнь и щедрее, и в чём-то скупее, чем нам кажется. Как называлась твоя деревня?

— Село Клушино. Оно и сейчас так называется.

— Понятно! Теперь я вспомнил. Мне тогда помог другой князь, Куракин, из села Куракино...

ВОРОТА В НЕБО

Вот и взята первая высота, имя которой — Саратовский индустриальный техникум. Быть может, это чересчур пышно сказано: высота. Техникум даёт всего лишь среднее образование, впрочем, профессию тоже. Ну, скажем, не высота, а ступень. Что же дальше? Можно пойти работать, можно продолжать учёбу, теперь уже в институте.

Большинство товарищей точно знали свой путь: кто уезжал на Магнитку, кто в Донбасс, кто на Дальний Восток, а иные присмотрели себе место на заводах, где проходили производственную практику: на московском — имени Войкова или ленинградском «Вулкане».

Юра Гагарин защитил диплом с отличием, перед ним были открыты все дороги, но, когда товарищи спрашивали: «А ты куда?» — он отмалчивался. И не потому, что, подобно былинному витязю на распутье, не знал, куда повернуть коня, а потому, что не был уверен в своём праве на тот выбор, который недавно сделал. А выбрал этот юный металлург не горячий цех, не институт, а Оренбургское лётное училище.

Юра знал, что ему не станут чинить препятствий, военлёт — профессия благородная. И всё же до дня торжественного вручения дипломов об окончании техникума он не подозревал, что у человека может быть так тяжело на душе. Его поздравляли, ему аплодировали, жали руку, желали славного трудового будущего, а он едва удерживал крик в горле: «Остановитесь! Вы ошиблись во мне! Я всех обманул!..»

Да, он всерьёз считал себя обманщиком, чуть ли не предателем. Его столько лет учили, кормили, одевали, обеспечивали тёплым жильём и карманными деньгами, столько сил, терпения, душевной заботы потратили учителя и цеховые мастера, чтобы сделать из него

квалифицированного литейщика, и всё впустую!.. Как доверчиво и озабоченно спросил директор техникума, подписывая ему на четвёртом курсе рекомендацию в аэроклуб: «А учёбе это не мешает?» — «Конечно, нет!» — заверил Гагарин, знавший, что с плохой успеваемостью в клубе держаться не смогут. Да, аэроклуб помешал не учёбе, а куда большему — жизни в приобретённой профессии.

И тут, как удар под вздох, известие — в Саратов приехал Мастер. Так величали своего наставника, мастера литейного цеха и великого друга, учащиеся Люберецкого ремесленного училища. Это он привёл их впервые в горячий цех, ожёгший робкие души деревенских пареньков испуганным восторгом.

Что привело Мастера в Саратов, и как раз в дни выпуска? Среди окончивших было трое его учеников: Чугунов, Петушков, Гагарин. Может, он рассчитывал выбрать среди них наследника, ведь нужно передать кому-то всё, что узнал за долгую жизнь о литье — древнейшем занятии людей. И когда Гагарин услышал, что Мастер требует его к себе, то не выдержал и открылся товарищам.

Одни сказали:

— Плюнь, не ходи!

Эти не знали Мастера и не слышали о нём.

Другие посоветовали:

— Пойди. Чем ты рискуешь?

Эти кое-что слышали о Мастере.

А Петушков отрезал жёстко:

— Дело совести!

И Чугунов согласно кивнул головой.

Так считал и сам Гагарин. Но, видать, хочется иной раз человеку опереться о чужую совесть. А этого делать не следует, совесть не берут ни займы, ни напрокат.

Впоследствии Гагарин говорил, что никогда так не волновался, как перед встречей с Мастером. Впрочем, он вообще волновался редко, иначе не стал бы Космонавтом-1. Гагарин не хотел, чтобы первый же его самостоятельный поступок ударил по старому сердцу человека, который был по-отцовски добр к нему. Пусть Мастер сам решает, как ему поступить. Тот, не перебивая, выслушал сбивчивое признание.

Видать, ты мне очень доверяешь... — сказал он задумчиво.

Гагарин наклонил голову.

— И всё-таки думай сам. Ещё недавно ты без литья не мог, а сейчас — без полётов. Уж больно ты переменчив.

— Если не летать, то ладно...

— Обижаешь, Юрий! Что значит «ладно»? Для меня моя профессия — вечный праздник, а ты словно о похоронах... Человек должен только своё дело делать, единственное. Как говорят, «рождённый летать не может ползать».

— Чё это? — вскинулся Юра. — Что-то знакомое.

— Стих. Максима Горького. Про буревестника.

Ворота в небо открылись. Хотя не искушённый в литературе Мастер слегка перепутал стихи Горького.

ЗВЕЗДЫ

— Юра был странный мальчик, — вспоминает Анна Тимофеевна Гагарина. — Всё приставал: «Мама, почему звёзды такие красивые?» Пальцы сожмёт и так жалобно, будто ему в сердчишке больно: «Ну почему, почему они такие красивые?» Раз, помню, это ещё в оккупацию было, я ему сказала: «Народ их божьей росой зовёт или божьими слёзками». Он подумал, покачал головой: «Кабы бог был, не было бы у нас немца». Не отдал он богу звёзды...

Когда Гагарин, уже сержантом лётного училища, приезжал к родителям на побывку, Анна Тимофеевна, проведавшая, что у сына в Чкалове есть невеста, всё расспрашивала его: какая, мол, она, наша будущая сношка?

— Да разве объяснишь? — пожимал плечами сын.

— Уж больно интересно!

— Я же показывал карточку.

— Карточка — что! Мёртвая картинка. С личика, конечно, миловидная, а за портретом что? Какая она сутью?

— Я не умею сказать... — произнёс он растерянно. Разговор шёл в звёздном шатре — августовской погожей ночью. Гагарин поднял голову, и взгляд его ослепила большая яркая гранёная и лучистая звезда.

— Вон как та звёздочка! — воскликнул он радостно.

Мать серьёзно, не мигая, поглядела в хрустальный свет звезды.

— Понимаю... Женись, сынок, это очень хорошая девушка...

...Необыкновенный человеческий документ — запись разговора Гагарина с Землёй — «Кедра» с «Зарей» — во время знаменитого витка. Вся отважная, весёлая и глубокая душа Гагарина в этом разговоре. Он был то нежен, то насмешлив, то мальчишески дерзок, когда, узнав голос Леонова, крикнул: «Привет блондину! Пошёл дальше!» А как задушевно, как искренне и доверчиво прозвучало это: «В правый иллюминатор сейчас вижу звезду... Ушла звёздочка, уходит, уходит!..»

Когда Герман Титов вернулся из своего полёта, он сказал Гагарину:

— А ты знаешь, звёзды в космосе не мерцают.

Гагарин чуть притуманился.

— Не успел заметить, — ответил со вздохом. — Всего один виток сделал.

— В другой раз приглядишься.

— Да уж будь спокоен...

Но не было этого другого раза, а Гагарин сам стал звёздочкой в золотом шатре небес...

УРОК АНАТОМИИ

Густые акации, высаженные вдоль улицы, пропускают мало солнца в комнату. Золотом помазаны только листья резеды, стоящей в горшках на подоконнике, да на полу несколько пульсирующих пятнышек солнца. И ещё взблескивают голенища Юриных сапог, когда он, расхаживая по комнате, приближается к окну. А вот головки сапог у него запylённые. Похоже, он шёл издалека. Лётная школа находится отсюда в двух шагах, значит, их вывезли в лагерь. Куда?.. Об этом спрашивать не полагается, да он и не скажет.

Вале мешают эти мысли, она и так не может сосредоточиться на проклятом учебнике анатомии. Особенно угнетают её латинские названия, в голове сумбур. Она провалит экзамен. Валю бросает в жар и холод. Она самолюбива и к тому же ужасная трусиха — боится экзаменаторов, как девчонка.

С улицы то и дело доносится слабый постук, сопровождаемый тонким скрежетом, царапаньем, — это слепцы идут в школу, занимающую нижний этаж дома. И, не глядя на Юру, Валя знает, как напрягаются его зрачки всякий раз, когда раздаются стук и шорох палки, ощупывающей асфальт мостовой и плитняк тротуара. Насилие болезни или несчастного случая над человеком причиняет ему боль. Мёртвые очи, задранная вкось голова, палочка-щуп возмущают его сильное, здоровое существо, словно злобная несправедливость, с которой он бессилен бороться.

А ещё он не любит цветы в горшках, вдруг вспомнила Валя. Вспомнила, верно, потому, что ветки акаций, тронутые ветром, закачали солнечный луч на листьях резеды. Ненавидит цветы в горшках и вазах и постоянно грозит выбросить их на помойку. Его возмущает насилие над природой растения, которому место в поле и в лесу, а не в комнатной духоте...

Нет, она не выучит, не запомнит — анатомия и так даётся ей трудно, а тут ещё тревожащее Юрино присутствие.

— Ты что же, всю увольнительную намерен тут проторчать? — говорит она нарочито резко.

— Неужели ты никогда не выучишь эти несчастные кости?

— Во-первых, мышцы, а не кости, и, во-вторых, не твоё дело.

— Ну разве можно так готовиться? Зачем ты десять раз долбишь одно и то же! Прочти раз, но внимательно. Как говорит наш инструктор Акбулатов: «Действия в воздухе должны быть быстрыми, но разумными». То же и в любом деле.

— Какая самоуверенность! Что ты вообще понимаешь в медицине?

— А это мы сейчас проверим. — И ловким движением он выхватил у неё учебник. — Мышцы руки?.. — Он закатал рукав зелёной рубашки и стал прощупывать свою сильную загорелую руку, что-то бормоча про себя. — Пожалуйста. — Он вернул ей учебник. — Мышцы руки обеспечивают пять типов движения: вращение, поворот внутрь и наружу, сгибание и разгибание. Мышцы сгибания находятся на внутренней стороне руки, разгибания — на внешней. Мышцы, управляющие поворотом, напоминают винтовую лестницу. «Вращение» по-латыни будет «ротация», следовательно, и мышцы...

— Довольно!.. Довольно!.. — Валя зажала уши. — У тебя чудовищная механическая память.

— Ничего подобного! Просто я стараюсь ухватить смысл, а не слова. Нет ничего хуже зубрёжки...

— Ну, знаешь!..

Она сердится, и немного завидует, и вместе с тем не может не восхищаться его ясным и цепким умом. К тому же вдруг всё запомнила.

Словно оказывая ему величайшее снисхождение, она сказала:

— Ладно. Хочешь, пойдём в парк?

— Давай лучше дома посидим.

Это её удивило — Юра не выносил комнат, всегда стремился на улицу, за город.

— Мне скоро надо в часть, — сказал он в своё оправдание.

— Вас перевели на летние квартиры? — спросила она осторожно.

— Да... Это довольно далеко.

— Как же ты сюда добирался?

— Пешком.

— И обратно пешком?

Он глянул на часы и улыбнулся:

— Нет, бегом.

— Бегом?

— А что такого? Я же неплохо бегаю кроссы...

«Лишь много времени спустя, — рассказывает Валентина Ивановна, — я узнала, что Юре предстояла марафонская дистанция».

ГИБЕЛЬ ДЕРГУНОВА

По окончании Оренбургского лётного училища Юрий Гагарин и его ближайший друг и тёзка Дергунов получили назначение на Север.

Они трудно и хорошо служили у северной нашей границы, где низкие сопки, поросшие соснами-кривулинами, и гладкие валуны, где полгода длится ночь и полгода — день. Небо над этой суровой землёй помнило Курзенкова, Хлобыстова, Сафонова — бесстрашных героев минувших битв. Впрочем, небо — великая пустота — ничего не помнило, а вот молодые лётчики отлично знали, на чьё место пришли.

Они учились летать во тьме полярной ночи, в туманах занимающегося бледного полярного дня, а когда простор налился блеском неподвижного солнца, у них прорезался свой лётный почерк.

Впервые об этом сказал вслух скупой на похвалы Вдовин, заместитель командира эскадрильи. Юра Дергунов вёл тогда тренировочный бой с кем-то из старших лётчиков, проявляя прямо-таки возмутительную непочтительность к опыту и авторитету маститого «противника».

— Неужели это правда Дергунов? — усомнился Алексей Ильин.

— Не узнаете почерк своего друга? — через плечо спросил Вдовин.

— Ого! У Юрки, оказывается, есть почерк?

— И весьма броский! Смотрите, как вцепился в хвост!.. — Вдовин повернулся к молодым лётчикам. — У каждого из вас уже есть свой почерк, может быть, не всегда чёткий, уверенный, но есть...

Вот так оно и было. А потом Дергунов приземлился, с довольным хохотком выслушал от товарищей лестные слова Вдовина, пообедал в столовой, со вкусом выкурил сигарету и завёл мотоцикл. Ему нужно было в посёлок на почту. Алёша Ильин попросил взять его с собой.

Ильин забрался в коляску, Дергунов крутнул рукоятку газа, и, окутавшись синим дымом, мотоцикл вынесся на шоссе.

У Дергунова уже определился броский, элегантный лётный почерк, ему не занимать было мужества, находчивости, самообладания, но все его качества пилота и всё обаяние весёлого, лёгкого, открытого характера негодились в тот миг, когда вылетевший из-за поворота грузовик ударил его в лоб.

Ильину повезло, его выбросило за край шоссе, в мох. Дергунов был убит на месте.

Его похоронили на поселковом кладбище. Мучителен был хрип неловких речей, страшны заплаканные мужские лица. Гагарин молчал и не плакал. Он молчал двое суток, не спал и не ходил на работу. В третью ночь он вдруг заговорил, стоя лицом к тёмной занавеске на окне и глядя в неё, словно в ночную тьму:

— Это страшно... Он ничего не успел сделать... Ни-че-го!.. Мы все ничего не успели сделать... Нам сейчас нельзя погибать. После нас ничего не останется... Только слабеющая память в самых близких... Так нельзя... Я не могу думать об этом... Дай хоть что-то сделать, хоть самую малость, а потом бей, коли хочешь, бей, костлявая!..

«Это он — смерти!» — догадалась Валя и вспомнила наконец, что она как-никак медицинский работник.

Гагарин бережно взял стакан с успокоительным лекарством, не спеша опорожнил его в раковину и лёг спать. Утром он сделал зарядку и пошёл на работу...

Вспомнил ли Гагарин о своих словах чёрным мартовским днём, когда подмосковный лес стремительно придвинулся к потерявшему управление самолёту островершками елей? Да, он-то сделал, и не какую-то малость, но было ли ему легче оставлять жизнь, чем неизвестному Дергунову? Этого мы никогда не узнаем.

В СУРДОКАМЕРЕ

В сурдокамере — закрытом наглухо помещении, из которого нельзя самому выйти, — будущий космонавт проходит испытание на одиночество. Когда он входит в сурдокамеру, за ним захлопывается тяжёлая стальная дверь. Он оказывается словно бы в кабине космического корабля: кресло, пульт управления, телевизионная камера, позволяющая следить за состоянием испытуемого, запас пищи, бортовой журнал. Испытуемый может обратиться к оператору, но он не услышит ответа. В космическом корабле дело обстоит лучше — там связь двусторонняя.

На какое время тебя поместили в одиночку — неизвестно. Ты должен терпеть. Ты один, совсем один.

Тут есть часы, но очень скоро ты утрачиваешь ощущение времени. Это длится долго. Будущий космонавт входит в сурдокамеру с атласно выбритыми щеками, выходит с молодой мягкой бородой. Всё же, как ни странно, ему кажется, что он пробыл меньше времени, нежели на самом деле...

Главный конструктор Королёв придавал колоссальное значение тому, кто первым полетит в космос. Можно предусмотреть всё или почти всё, но нельзя предусмотреть, что будет с человеком, когда он впервые окажется в космосе, выйдя из-под власти земных сил. Как же одиноко будет этому смельчаку в космическом корабле — вокруг пустота, а Земля и всё, что он любил, далеко, далеко!.. Полное одиночество — удел первого космонавта, уже второй космонавт не будет столь одинок, ибо с ним будет первый.

Первому космонавту надо было доказать раз и навсегда, всем, всем, всем, что пребывание в космосе посильно человеку.

Естественно, что Королёв с особым вниманием следил за испытаниями в сурдокамере, испытаниями на одиночество. Он жадно спрашивал очередного «бородача»:

— О чём вы там думали?

И слышал обычно в ответ:

— Всю свою жизнь перебрал...

Да, долгое одиночество позволяло вдосталь покопаться в прошлом.

А вот испытуемый, чьи показатели оказались самыми высокими, ответил с открытой мальчишеской улыбкой:

— О чём я думал? О будущем, товарищ Главный!

Королёв посмотрел в яркие, блестящие глаза, даже на самом дне не замутнённые отстоем пережитого страшного одиночества.

— Чёрт возьми, товарищ Гагарин, вашему будущему можно только позавидовать!

«Да и моему тоже», — подумал Главный конструктор, вдруг уверившийся, что первым полетит этот ладный, радостный человек...

Читателю известно, что Главный не ошибся. Королёв безмерно гордился подвигом Гагарина и радовался его успеху куда больше, чем собственному. Удивлённый ликованием обычно сдержанного и немногословного Королёва, один из его друзей и соратников спросил как-то раз:

— Сергей Палыч, неужели ты считаешь, что другие космонавты справились бы с заданием хуже, чем Гагарин?

— Ничуть! — горячо откликнулся Королёв. — Придёт время, и каждый из них превзойдёт Гагарина. Но никто после полёта так не улыбнётся человечеству и Вселенной, как Юра Гагарин. А это очень важно, куда важнее, чем мы можем себе представить...

ФОРЕЛЬ

Маленький дом отдыха, где проводил свой отпуск Юрий Гагарин, находился на берегу светлой горной речки, богатой форелью.

Гагарин, вернувшийся с рыбалки, только что принял душ и побрился. Его влажные волосы были тесно прижаты щёткой к голове, подбородок и щёки чуть приметно голубели от пудры, он был стерильно чист, свеж и печален. Да, печален, это сразу чувствовалось, несмотря на обаятельную гагаринскую улыбку, легко, непроизвольно вспыхивающую на его лице, и дружелюбный блеск глаз. В конце концов, не выдержав натянутости, я спросил напрямик:

— Юрий Алексеевич, что с вами?

— Да ничего... — Гагарин улыбнулся и зачем-то потёр ладонью коленную чашечку.

— Вы чем-то расстроены?

— Ну, расстроен — слишком сильно сказано! — возразил Гагарин, и я почувствовал, что ему хочется поделиться каким-то недавним переживанием, оставившим в его душе неприятный след.

Так оно и оказалось. Походив по комнате, небольшой светлой гостиной, поглядев в пустое солнечное окно и вздохнув раз-другой, Гагарин остановился передо мной.

— Вы знаете Иванова? — Он назвал другое имя, я не запомнил, да это и неважно.

— Конечно, знаю! Хороший парень!

— И я так считал... Мы вместе на рыбалке были. Чёрт знает отчего — то ли мне место лучше попало, то ли просто везение, но я таскал одну за другой, а у Иванова — хоть бы поклёвка. Мы ловили за старым мостом, там много мелочи, — но и крупные форели тоже попадаются. Их видно в воде, стоят у самого дна, напрягаются против течения.

Мне стало жалко Иванова, и я предложил поменяться местами. Поменялись, и, как назло, я сразу вот такого зверя вытащил. — Гагарин широко развёл руки, подумал и свёл их немного ближе, но всё равно получалось — будь здоров! — Я, честно говоря, думал, не выведу, удилище пополам согнулось. А хороша — бока серебром блестят, спинка пятнистая!.. У Иванова опять ни черта! Мы снова поменялись местами, и тут он наконец вытащил вполне стоящую форель. Он сразу повеселел, стал хвастаться, что ещё обловит меня, и запел! «Первым делом, первым делом самолёты!..» Потом крупная форель оборвала у него поводок, и ему пришлось переоборудовать снасть. А когда снова закинул, едва наживка коснулась воды как сразу клюнуло, он подсек и вытащил маленькую форель.

Нас предупредили: меньше тридцати сантиметров не брать, выпускать назад в воду. И специальные линейки дали, чтобы измерять рыбу, если сомнение явится. У меня глазомер неплохой, я сразу увидел, что эта его форелька сантиметра два до нормы не добирает.

Иванов взял линейку и осторожно, чтобы не повредить слизевого покрова, измерил рыбу. Так оно и вышло, как я на глаз определил. Он смочил руку, чтобы снять форель с крючка, но, видать, ему смертельно не хотелось расставаться с добычей. Он глянул на меня этак косо и опять за линейку взялся. Потом вздохнул и ещё раз измерил форель. А я про себя подсказываю ему: «Отпусти, отпусти, будь человеком!»

Всё это вроде бы чепуха: подумаешь, одной форелью больше, одной меньше в речке, но и не чепуха, если хорошенько вдуматься. Из маленьких убийств совести рождается большое зло жизни. Иванов, можно сказать, проходил сейчас испытание на честность.

Иванов мучился, и я мучился за него, хотя он не знал этого. В конце концов он ещё раз измерил рыбу, чуть наклонив линейку, и получилось, что форель как раз нужной длины. Он принял этот самообман и опустил форель в ведёрко. А я подумал, что Иванову не бывать космонавтом...

О ЧЕМ ДУМАЛ ГЕРОЙ

После своего исторического полёта Юрий Гагарин стал нарасхват. Его хотели видеть все страны и все народы, короли и президенты, люди военных и штатских профессий, самые прославленные и самые безвестные. И Гагарин охотно встречался со всеми желающими, не пренебрегая даже королями, — разве человек виноват, что родился королём? Но охотнее всего шёл он к курсантам лётных училищ, как бы возвращался в собственную юность, в её лучшую, золотую пору.

Как-то раз, когда официальная встреча уже закончилась и дружеский разговор переключался из торжественного зала в чахлый садик на задах лётной школы, один из курсантов спросил, заикаясь от волнения:

— Товарищ майор... этого... о чём вы думали... тогда?..

— Когда «тогда»? — спросил с улыбкой Гагарин и по тому, как дружно грохнули окружающие, понял, что задавшему вопрос курсанту в привычку вызывать смех.

Когда-то так же смеялись каждому слову Юры Дергунова — в ожидании шутки, остроумной выходки, розыгрыша, но тут было иное — смех относился к сути курсанта. Гагарин пригляделся к нему внимательней: большое незагорелое лицо, вислый нос, напряжённые и какие-то беспомощные глаза, толстые ноги иксом. Да, не Аполлон. И не Цицерон к тому же — вон никак не соберёт слова во фразу.

— Ну, в общем... я чего хотел спросить... когда вы по дорожке шли?..

Курсанты снова грохнули, но Гагарин остался подчёркнуто серьёзен, и смех сразу погас.

— Вы имеете в виду Внуковский аэродром? Рапорт правительству?

— Во... во!.. — обрадовался курсант, достал из кармана носовой платочек с девичьей каёмкой и вытер вспотевший лоб.

Теперь уже все были серьёзны, и не по добровольному принуждению, а потому, что наивный вопрос курсанта затронул что-то важное в молодых душах. Гагарин шёл через аэродром на глазах всего мира, и это было для них кульминацией жизни Героя, сказочным триумфом, так редко, увы, выпадающим на долю смертного. О чём же думал Герой в это высшее мгновение своей жизни?..

И Гагарин с обычной чуткостью уловил настроение окружающих, значительность их ожидания. Конечно же, ребята мечтают о подвигах, о невероятных полётах, о славе, им кажется, что Герой думал о чём-то очень большом и важном: о Небе, Звёздах, Человечестве и Смысле жизни.

Но Гагарин молчал, и пауза угрожающе затянулась. Он был сейчас очень далеко отсюда, от этого чахлого сада, тёплого вечера, юношеских доверчивых лиц, в другом времени и пространстве.

...В тот раз в одиночке сурдокамеры держали не так уж долго, но он чувствовал себя на редкость плохо: болела и кружилась голова, мутило, тело казалось чужим, а ноги ватными. Может, что-то там испортилось, нарушилась подача воздуха?.. Но Королёв спрашивает испытуемых о самочувствии, и все как один молодцевато отвечают: «Отлично!» — «К выполнению задания готовы?» — «Так точно!» Неужели одному ему так не повезло? «Как самочувствие, товарищ Гагарин?» — «Отличное... — Нет, он не может врать Королёву и без запинки добавляет: — Хотя и не очень». — «К выполнению задания готовы?» — «Сделаю, что могу, но лучше бы в другой раз». И в результате — высшая оценка. То было, оказывается, испытание на честность. Им специально создали тяжёлые условия в камерах. Но ведь нельзя считать, что ты сдал испытания на честность раз и навсегда. Всю жизнь человек сдаёт эти испытания и в большом и в малом, и он обязан сказать правду этим затаившим дыхание ребятам, будущим лётчикам.

— Видишь ли, дружок, — сказал Гагарин носатому курсанту, — у меня тогда развязался шнурок на ботинке. И я об одном думал, как бы на него не наступить. Не то, представляешь, какой позор — в космос слетал, а тут на ровном месте растянулся...

Ночью курсант никак не мог уснуть. Он ворочался на койке, вздыхал, кричал, что-то бормотал.

— Да угомонишься ты или нет? — не выдержал сосед.

— Слушай, — без обиды сказал курсант и сел на койке. — А ведь я тоже мог бы, как Гагарин...

— Что-о?.. Ты... Как Гагарин?..

— А вот и мог бы... думать о шнурке...

Сосед уткнулся носом в подушку, и в темноте казалось, будто он плачет. Но и тут курсант не обиделся, понимая, что, по обыкновению, не сумел выразить свою справедливую мысль.

Он тысячи раз повторял в воображении подвиг Гагарина и твёрдо знал: если его пошлют в космос, он не оплошает. Не дрогнет. Разве что побледнеет. И даже песню споёт в космосе, если надо, хотя ему медведь на ухо наступил. Но когда он пытался представить себя в средоточии мирового внимания, душа в нём сворачивалась, как прокисшее молоко.

Он видел себя на космодроме, видел в космическом корабле, но не видел на красной тропочке славы, по которой легко, уверенно, сосредоточенно и радостно прошагал Гагарин. Ведь чтобы идти так на глазах всего света, надо что-то большое нести в себе. А он, курсант, постоянно думал о всякой чепухе: о девушках, футболе, кинофильмах, мелких происшествиях окружающей жизни, несданных зачётах, и где бы стрельнуть сигарету и сапожной ваксой разжиться, и как славно было бы отпустить усы... Такому пустому, нулевому человеку нечего делать в скрещении мировых лучей. И, следуя обратным ходом, он начинал сомневаться в своих возможностях совершить подвиг. А если не будет подвига, то зачем тогда жить?..

Гагарин вернул ему веру в себя. Впервые за много дней курсант засыпал счастливым.

В ТЕ ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ

Никто не знает до конца, как погиб Юрий Гагарин, даже авторитетнейшая комиссия не могла сделать последних выводов, а вот житель деревни Ерёмино, глядящей с края Московской области через озеро Дубовое на Рязанщину, Иван Николаевич Чубарин всё знает. Вернее, он убеждён, что знает всё, и этой своей убеждённостью заражает собеседника.

Сам он человек далёкий от авиации, всю сознательную жизнь проработал на торфяных разработках в маленьких должностях, а под старость, выйдя на пенсию, вернулся в родную деревню, где ему досталась от умершего брата хорошая, крепкая изба. Наследницей являлась единственная дочь покойного, племянница Ивана Николаевича, Настя, работающая официанткой в столовой. Она уступила безвозмездно избу своему одинокому дяде, поскольку имеет жильё в городе и менять профессию не собирается, а официантки в деревне не нужны.

Если исключить полковника Серёгина, то она была последним человеком, видевшим Юрия Гагарина и разговаривавшим с ним, и, надо полагать, некоторые сведения Ивана Николаевича почерпнуты у Насти...

...Гагарин и Серёгин в лётных комбинезонах шли вразвалочку к самолёту, когда их окликнул запыхавшийся голос. Девушка-официантка в белом фартучке и крахмальной наколке, напоминающей маленькую корону, подбежала к ним, держа в руке голубой билетик:

— Юрий Алексеевич, вы талон на обед забыли!

Было ясное, очень синее мартовское утро, но чистый воздух нёс в себе стужу растаявшего снега, и вороны, оравшие над мохнатыми кулями гнёзд, проклинали себя за то, что слишком поспешили к северу из своей теплыни.

— Простудитесь, разве так можно? — укорил девушку Гагарин.

— Да что вы, Юрий Алексеевич, какие пустяки! А талон-то ведь именной!.. — радостно и серьёзно сказала Настя.

Гагарин взял голубой билетик, на котором было написано: «Гагарин Ю. А.». Он понимал, что девушке этот клочок бумаги казался чуть ли не секретным документом.

— Предусмотрительно! — улыбнулся Гагарин. — А то, не ровён час, диверсант какой к нашему котлу подберётся.

Девушка засмеялась. Гагарин с удовольствием смотрел на её доверчивое лицо, живые глаза и добрый, весёлый рот.

— Ну, а обед-то хоть стоящий? Беляши будут?

— Я скажу шеф-повару. Для вас всё сделает!

— Ну, тогда мы по-быстрому обернёмся. Только уговор — двойная порция!

— А вы осилите?

— Спросите моих домашних, какой я едок. Величайший специалист по беляшам!

— Будет сделано, товарищ полковник!

Гагарин побежал за ушедшим вперёд Серёгиным.

И почему-то девушке стало грустно. Она стояла на краю аэродромного поля и видела, как лётчики забрались в самолёт, как он взлетел и стал светлой точкой в небе, а там и вовсе скрылся.

То, что затем произошло, ведомо лишь Настиному дяде Ивану Николаевичу.

— ... Они отлетались и уже шли на посадку, когда им в мотор попало иногороднее тело...

— Инородное, — поправил я.

— Ежели ты лучше моего сведом, как всё было, так и рассказывай, а я послушаю. Или молчи и не перебивай. Какое ещё инородное тело? Летающая тарелочка, что ли? Так это научно не доказанный факт. Может, никаких летающих тарелочек и в заводе нету. А иногороднее тело — пузырь, каким погоду измеряют. Он где-то оборвался, ветром его принесло и в мотор засосало. Самолёт сразу клюнул и стал высоту терять, а внизу лес. Серёгин, он за командира был, говорит в шлемный телефон: «Приготовиться сгять с парашютом!» Ты не думай, что это обычный зонтик, это цельная катапульта, она пилота вместе с сиденьем выбрасывает. Нажал кнопку, а пружина тебе под зад как даст, и ты, можно сказать, со всем удобством покидаешь гибнущий самолёт. Товарищ Гагарин Юрий Алексеевич, конечно, отвечает, как положено по военной краткости: «Есть приготовиться!» Серёгин даёт другую команду: «Пошёл!» — и тут у него заедает механизм катапульты. Кнопка вроде утопляется, а полезного действия нету. И понимает командир корабля, товарищ полковник Серёгин, что ему не спастись, потому что уже близки островершки ёлок. И ещё видит, что Юрий Гагарин сидит на своём месте и палец на кнопке держит. «Почему, говорит, не выполняешь приказа?» А Юра ему: «Приказ для нас обоих, один я не буду...» — «Отставить разговорчики! Я твой командир и приказываю...» — «Нет, товарищ командир, только с вами вместе!»

Иван Николаевич моргает, сморкается, и, жалея его, я говорю:

— Иван Николаевич, дорогой, там всё решается в доли секунды. Разве могли они такой долгий разговор вести?

— Городской, образованный человек, а не знаешь, что там всё на других скоростях происходит! Там и кровь быстрее по жилкам бежит, и голова быстрее соображает. Они ведь не треплют языком, как мы с тобой, а посылают быструю мысль прямо в шлемный телефон. У них всё по реактивным скоростям рассчитано...

Иван Николаевич справедливо укорил меня в невежестве, мне никогда бы не додуматься до такого своеобразного поворота теории относительности. Но до его высокой веры я сумел подняться.

Теперь во мне уже не вызвали сомнения долгие уговоры Серёгина, объяснявшего Гагарину, что тот не имеет права жертвовать собой, потому что он принадлежит не себе, а всей нашей планете и всему, что вокруг планеты. И если к нам прилетят люди с далёких звёзд, то они очень строго спросят с землян за Гагарина, сделавшего первый шаг навстречу звёздам. И ещё Серёгин говорил, что без Юры осиротеют все дети. И как им объяснить, почему не уберегли Гагарина? Но Юра на всё отвечал, что спастись они могут только вдвоём, а для одного себя он спасения не хочет. Серёгин ещё что-то говорил, видимо, приводил последние доводы, но я уже не узнал какие, потому что голос Ивана Николаевича, давно спотыкавшийся, вовсе оборвался.

Он вытирал морщинистое лицо большими бурыми ладонями, и я вдруг понял, что старый одинокий человек, рассказывая эту историю, в которую верил всем сердцем, прощался с Гагариным, как со своим сыном, прекрасным, знаменитым, так неоправданно рано ушедшим сыном...

ФОТОГРАФИЯ

Генерал-полковник поколдовал над сейфом, и тяжёлая, толстая дверца распахнулась бесшумно-легко, как если бы обладала невесомостью. Его чёткие, короткие движения приобрели такую бережность, словно он хотел пересадить бабочку с цветка на цветок и боялся повредить нежную расцветку крылышек.

Он положил передо мной тетрадь не тетрадь, блокнот не блокнот — книжицу в сером переплёте. Я раскрыл её и увидел несколько неровных строчек, написанных шатким почерком. «Вошёл в тень Земли...» Сердце во мне забило — это был бортовой журнал Юрия Гагарина.

Генерал-полковник показал мне обгорелые бумажные деньги: десятки, пятерки, трешки, их нашли после катастрофы вместе с именным талоном на обед в куртке Гагарина, повисшей на суку дерева. До того как обнаружили этот талон, теплилась сумасшедшая надежда, что Гагарин катапультировался.

И ещё остался бумажник, а в нём, в укромном отделении, хранилась крошечная фотографическая карточка, даже не карточка, а вырезанный из группового снимка кружочек, в котором — мужское лицо. Так снимаются школьники, студенты техникумов и курсанты военных училищ по окончании учёбы, служащие в юбилейные даты своего учреждения и почему-то — революционеры-подпольщики в пору нелегальных съездов.

Даже себя самого трудно бывает отыскать на подобных снимках — столь мелко изображение.

Кого же вырезал так бережно из групповой фотографии Космонавт-1, чьё изображение хранил так застенчиво-трогательно в тайнике бумажника? Это нестарое, сильное, лобасточелюстное лицо принадлежит недавно умершему Главному конструктору Королёву. Он дал Гагарину крылья, Гагарин облёк его мысль в плоть свершения. Вдвоём они сотворили величайшее чудо века. Но внутренняя их связь была ещё крепче и значительнее, нежели принято думать.

Прекрасная мужская скромность, страшущаяся умильности и слезницы, не позволила Юрию Гагарину попросить фотографию у старшего мудрого друга, и он вырезал её ножницами из случайно попавшегося ему группового снимка и всегда носил с собой, возле сердца.

К Гагарину был прикован взгляд всех современников, ему выпало редчайшее счастье быть любимцем века. На него смотрели с восторгом, удивлением и нежностью тёмные, светлые, узкие, круглые, раскосые, молодые, старые глаза, но никто не видел его так пронизательно, как Королёв. Главный конструктор говорил: если Гагарин будет по-настоящему учиться, из него выйдет первоклассный учёный. С его великолепным, ясным и мускулистым мозгом можно многого добиться в науке.

Раньше приходилось слышать: Королёв и Гагарин — это мозг и рука. О Королёве долгое время никто ничего не знал в широком мире. Он был засекречен. Но теперь-то мы знаем, что создатель советского космического корабля был не только Человеком мысли, но и Человеком действия, волевым, смелым и вместе — расчётливым и непреклонным в достижении поставленных целей. И мозг, и рука. Прощаясь с Гагариным, мы провожали в последний путь не только Героя, Человека действия, бесстрашного Исполнителя чужого замысла, но и — как некогда сказали о Пушкине — «умнейшего мужа России»...

ДЕНЬ С ГЕРМАНОМ ТИТОВЫМ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ УЛЫБКЕ ГАГАРИНА

Герман Степанович Титов — один из самых ярких людей, с какими сводила меня щедрая жизнь. Бывают же такие счастливо одарённые натуры! Блестящий лётчик и спортсмен, он пишет стихи и прозу, выразительно декламирует, прекрасно разбирается в музыке, сам поёт и заразительно лихо пляшет.

Мы встретились в Звёздном городке, и я не заметил, как промелькнул хмурый мартовский денёк, и сейчас трудно поверить, что всё бывшее там уместилось в одном коротком дне.

Приехал я к Титову в связи с предполагавшейся постановкой большого художественного фильма о Юрии Гагарине. Эту дерзкую мысль вынашивала киностудия имени Горького, а мне предстояло писать сценарий.

— Что вас интересует? — спросил Титов.

— Всё, — ответил я.

— Ну, если всё, так слушайте, — и неожиданно включил магнитофон.

Вначале было лишь смутное бурление сильных мужских голосов, затем шум примолк, и кто-то звонко, рублено произнёс тост расставания с хозяином дома.

— Это мне проводы вчера устроили, — пояснил Герман Степанович. — Николаев получил назначение на место Гагарина, а я на место Андрияна. — Он коротко усмехнулся. — Продвигаемся по службе помаленьку... Мы весь наш мальчишник на плёнку записали. Под старость будет что вспомнить.

Я с огромным интересом прослушал эту запись сдержанного мужского веселья с хорошими песнями и каблучной дробью, с добрыми шутками и розыгрышами, с тем подчёркнутым молодечеством, что должно прикрыть грусть, неизбежную, когда нарушаются привычные связи...

Как я понял, забегал на огонёк Алексей Леонов, самый весёлый из звёздных братьев, остальные же гости принадлежали к числу «нелетавших космонавтов». И сквозь шум застолья, музыку и песни, шутки и подначки порой прорывалась чья-то тоска о полёте в неведомое — когда же придёт долгожданный день?..

— Мой корабль уже строится!..

— Сказал тоже! Хорошо, если в проекте. Вот мой скоро стартует!..

Но это особая тема, за которую я не решаюсь браться...

А потом Титов читал мне свои записные книжки. Большинство записей касалось, естественно, космонавтики, но были и сжатые, острые характеристики разных людей и событий, оценки прочитанных книг, увиденных фильмов и спектаклей, отзывы на явления международной жизни.

Особенно интересны записи, посвященные Гагарину. Едва ли где найдёшь такую широкую и многогранную характеристику Космонавта-1, как у Германа Титова. Он открыл мне глаза на громадную общественную деятельность Гагарина.

Каюсь, я воспринимал его бесчисленные поездки по белу свету как затянувшееся праздничное турне. Всем хотелось взглянуть на человека, первым вырвавшегося в мировое пространство, и Юрий Гагарин с присущим ему добродушием давал полюбоваться на себя. Какая чепуха!

Ему не путешествовать, а летать хотелось, осваивать новую технику, двигаться дальше в своей трудной профессии, не терпящей остановки, застоя. Но он знал, как веско сейчас его слово, как верят ему люди, а в мире столько жгучих проблем, столько розни, жестоких противоречий, и надо делать всё возможное для человеческого объединения.

Как хорошо пишет Титов о погибшем товарище! Ни тени панибратства, той дружеской развязности, на которую он, казалось бы, имел право. Он даже называет его по имени-отчеству, и это в интимных, не предназначенных для публикации записях.

Необыкновенное достоинство, высота тона, глубокое уважение, сквозь которое едва уловимо, как запах осени в августовский разгар лета, проникает печаль вечной разлуки.

В утро полёта они проснулись бок о бок в общем номере гостиницы космонавтов, минута в минуту открыли глаза, приподнялись, повернулись и столкнулись взглядом. Уловив марионеточную синхронность их движений, Титов со смехом сказал:

— Мы с тобой как чечётчники братья Гусаковы.

Эта синхронность оборвалась лишь на космодроме «Байконур», куда они прибыли в полном облачении космонавта. Гагарин летел, а Титов оставался.

— Тебя берегут для большего, — сказал Гагарин, прощаясь с другом. — Второй полёт будет куда сложнее.

Это было сказано от доброго сердца. Гагарин не знал, насколько он угодил в цель. Титов стал Космонавтом-2, но он оказался первым, ощутившим в полной мере космические перегрузки. За один виток Гагарин не мог их почувствовать.

Финал нашей встречи оказался обескураживающим для меня как сценариста. Я спросил, будет ли Герман Степанович поддерживать нашу картину.

— Вам откуда-то известна фраза Королёва об улыбке Гагарина: мол, слетал бы не хуже и другой космонавт, но поди улыбнись так миру и людям, как это сделал Гагарин. Шутка? Нет, это очень серьёзно.

Не надо понимать слова Королёва буквально, хотя никто не может поспорить в улыбке с Гагариным. Разве только Джоконда. Но Мона Лиза улыбается таинственно, из мглы женской души, а он открыто, весело, нежно — нельзя не откликнуться. И весь мир — от мала до велика — улыбался в ответ Гагарины.

Вы не хуже моего знаете, как искажает наш облик буржуазная пропаганда. И вот на обозрение всему свету вышел молодой советский человек из самой гущи народной, выращенный и сформированный нашим строем, нашей идеологией, и оказалось, что он прекрасен. И не нужно было никаких доказательств, всё решила улыбка. В ней открылась миру наша душа, и мир был покорён. А когда улыбка Гагарина погасла, то плакали все: и бедные и богатые, и верующие и неверующие, и белые и чёрные.

Вы хотите сделать художественный фильм о Гагарине. Честь и хвала вашей отваге. Но понимаете ли вы, что люди слишком хорошо помнят Гагарина, несут его в себе, и если актёр, предназначенный на его роль, уступит ему в обаянии, не сможет улыбнуться по-гагарински, то ваш фильм и полушки не будет стоить! Потому что принесёт не выигрыш, а ущерб. И уж лучше сделать большой, обстоятельный документальный фильм, где Гагарина будет «играть» он сам. Поймите, я вам друг, но только при одном условии: если найдут улыбку Гагарина. Иначе не только я, но и все мои товарищи космонавты будут против.

Что поделаешь, у нас много талантливых и обаятельных актёров, но нет гагаринской улыбки. И всё же нам удалось поставить фильм о Гагарине — о его детстве. Нашёлся московский школьник, славный паренёк, одарённый чудом радостной гагаринской улыбки.

Примечания

1

О, пули!.. Ружьё!.. Это запрещено!..

[\(обратно\)](#)

2

Французы?.. Почему французы?

[\(обратно\)](#)

3

На Москву? Мы тоже идём на Москву!

[\(обратно\)](#)

4

Только на восток!

[\(обратно\)](#)

Оглавление

- [В ШКОЛУ](#)
- [ЖИЛИЩА БОГАТЫРЕЙ](#)
- [ХОЛМИК ПОСРЕДИ ДЕРЕВНИ](#)
- [ЮРИНА ВОИНА](#)
- [СТАРАЯ ВЕТЛА](#)
- [СНОВА ЗА УЧЁБУ](#)
- [БУЯНКА](#)
- [В БЕСКРАЙНЕМ НЕБЕ](#)
- [ВОРОТА В НЕБО](#)
- [ЗВЕЗДЫ](#)
- [УРОК АНАТОМИИ](#)
- [ГИБЕЛЬ ДЕРГУНОВА](#)
- [В СУРДОКАМЕРЕ](#)
- [ФОРЕЛЬ](#)
- [О ЧЕМ ДУМАЛ ГЕРОЙ](#)

- [В ТЕ ПОСЛЕДНИЕ МГНОВЕНИЯ](#)
- [ФОТОГРАФИЯ](#)
- [ДЕНЬ С ГЕРМАНОМ ТИТОВЫМ, ИЛИ ЕЩЕ РАЗ ОБ УЛЫБКЕ ГАГАРИНА](#)